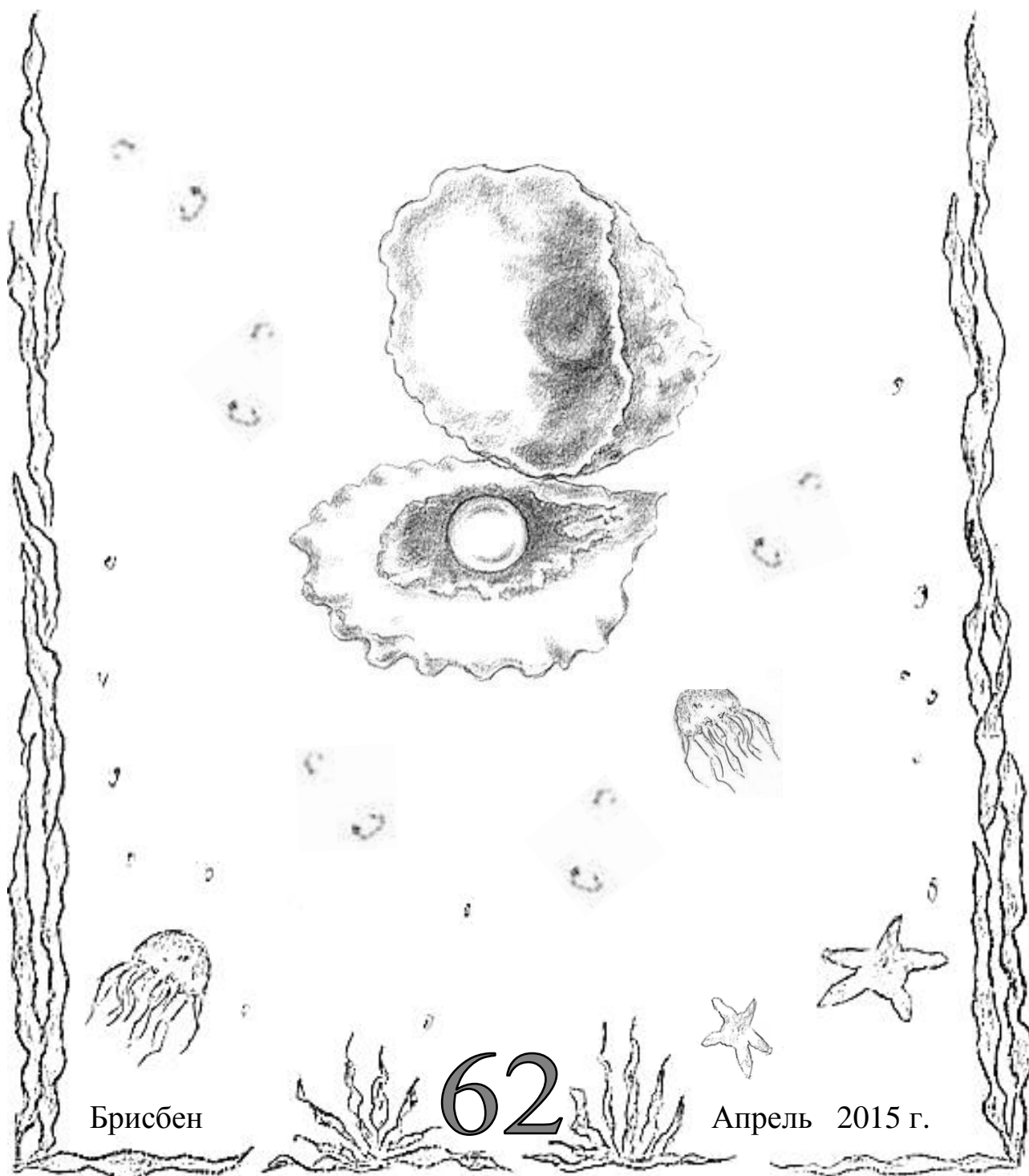


# ЖЕМЧУЖИНА

Литературно-художественный образовательный журнал

«The Pearl» / «Zhemchuzhina» № 62 Brisbane, Australia, April 2015



Брисбен

62

Апрель 2015 г.

## “The Pearl” / “Zemchuzhina”

Literary and Educational Journal in the Russian Language.  
Published and printed by the Editor of “The Pearl” / “Zemchuzhina”  
Brisbane, Australia.

## «Жемчужина»

Литературно-художественный образовательный журнал.  
Выпуск - 4 раза в год.

## Copyright © Tamara Maleevsky - The Editor of “The Pearl” / “Zemchuzhina”

This publication is copyright. Apart from any fair dealing for the purposes of private study, research, criticism or review, as permitted under the Copyright Act, no part may be reproduced by any process without written permission of the Editor.

**National Library of Australia cataloguing-in-publication data**  
“The Pearl” / “Zemchuzhina” - Literary and Educational Journal in the Russian Language

## Index

**ISSN 1443-0266**

Signed articles express the opinions of the authors and do not necessarily represent the opinions of the editor of “The Pearl” / “Zemchuzhina”.

“Zemchuzhina” (“The Pearl”) is a magazine published at the Editor’s own expense as a non-profit publication for the Russian society, consequently, it does not offer any honorariums, stipends or other remuneration to its contributors.

Взгляды, высказываемые авторами в своих статьях, не обязательно совпадают с мнением редакции.

Журнал «Жемчужина» выпускается исключительно на личные средства издателя для русского общества и не преследует коммерческих целей. Следовательно, издатель не выплачивает никаких гонораров, стипендий или иных вознаграждений авторам, труды которых он печатает.

Редакция оставляет за собой право сокращать рукописи и изменять их стилистически.

Рукописи, не принятые к печати, не обсуждаются и не возвращаются.

### Адрес для связи:

[tamaleevpearl@optusnet.com.au](mailto:tamaleevpearl@optusnet.com.au) или [tamaleevpearl@gmail.com](mailto:tamaleevpearl@gmail.com)

**\*Просьба:** посылая работу по E-mail, обязательно делать пометку - “For Pearl”.

**Tel:** редакция - (07) 3161-49-27 mobile: 0404559294

Сайт журнала в Интернете - <http://zemchuzhina.yolasite.com>

**Цена отдельного номера** - \$ 6 плюс \$ 2.10 пересылка по Австралии и упаковка.

**Стоимость годовой подписки** (4 журнала), включая пересылку по Австралии - \$ 33

# ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!



Дорогие читатели, авторы и друзья журнала,  
сердечно поздравляем всех вас  
с Великим Праздником Светлого Христова Воскресения!



Художник - Борис Кустодиев

## Пасхою дышит Земля

Волнами света омытая  
Смотрит Земля на восток  
Сердцем молитва забывтая,  
Дарит мне первый росток:  
- Господи, дай мне смирение  
Волю твою принимать!  
И к покаянью радение,  
Леность свою обуздать.  
Мир этот, космос вселенная,  
Дышат любовью Творца,  
Эта любовь неизменная  
Будет со мной до конца.  
Эта любовь безначальная  
И за чертой бытия...  
Будто невеста венчальная,  
Пасхою дышит Земля.

**Albina Yanko**

Сайт «Свете Тихий»



## Пасхальные вести

Весть, что люди стали мучить Бога,  
К нам на север принесли грачи...  
Потемнели хвойные трупцы,  
Тихие заплакали ключи...

На буграх камня обнажили  
Лысины, покрытые в мороз...  
И на камни стали падать слезы  
Злой зимой очищенных берез.

И другие вести, горше первой,  
Принесли скворцы в лесную глушь:  
На кресте распятыи, всех прощая,  
Умер Бог, Спаситель наших душ.

От таких вестей сгустились тучи,  
Воздух бурным зашумел дождем...  
Поднялись - морями стали реки  
И в горах пронесся первый гром.

Третья весть была необычайна:  
Бог воскрес, и смерть побеждена!  
Эту весть победную примчала  
Богом воскрешенная весна...

И кругом леса зазеленели,  
И теплом дохнула грудь земли,  
И внимая трелям соловьиным,  
Ландыши и розы зацвели.

**Я. Полонский.**

# Выставка - «Певцы красноречивы, прозаики шутливы...»

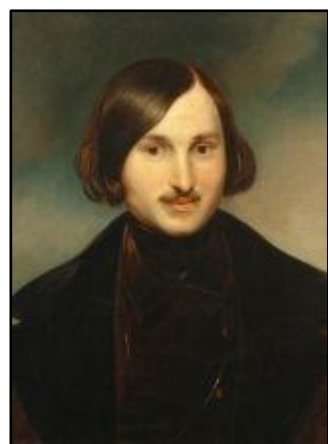
## Портреты русских писателей и поэтов из собраний Санкт-Петербургского и Московского музеев А.С. Пушкина

*К Году Литературы в России (6 февраля по 30 марта 2015 года)*

Выставкой «Певцы красноречивы, прозаики шутливы...» Государственный музей А.С. Пушкина открывает 2015 год, объявленный в России «Годом литературы». Родоначальником русской литературы принято считать А.С. Пушкина, всеобъемлющий гений которого впитал в себя все лучшее, что было создано его предшественниками - от М.В. Ломоносова и А.П. Сумарокова до К.Н. Батюшкова и В.А. Жуковского. Однако наряду с А.С. Пушкиным в число создателей «золотого века» русской поэзии входили многие литераторы того времени, поэтому творчество А.С. Пушкина представлено на выставке в широком историко-литературном контексте. В основе выставки - портреты русских писателей и поэтов конца XVIII - первой половины XIX века - живописные, графические, скульптурные; прижизненные издания их произведений, рукописные списки XIX века и мемориальные вещи.



Все портреты, предлагаемые вниманию посетителей, выполнены признанными мастерами XIX века. Не всегда это работы оригинальные, но даже если это живописные или гравированные повторения, то они создавались по заказу Академии Наук или Министерства Просвещения. Многие из них посетителям выставки могут показаться знакомыми, так как их изображения нередко воспроизводятся в печатных и электронных изданиях. Однако, мало кто из современных зрителей имел возможность



видеть оригиналы, тем более, собранные все вместе. Большая часть предметов, представленных на выставку Всероссийским музеем А.С. Пушкина (Санкт-Петербург), хранится в запасниках музея. Исключение составляет, пожалуй, только портрет Г.Р. Державина работы В.Л. Боровиковского (1811), который обычно находится на постоянной экспозиции Музея-Усадьбы Г.Р. Державина, в Санкт-Петербурге, на Фонтанке, 118. Этот портрет был выполнен по заказу Г.Р. Державина и находился в его доме. После смерти поэта и его второй жены Дарьи Алексеевны, рожденной Дьяковой, он принадлежал потомкам архитектора Н.А. Львова. Позже портрет оказался в собрании великого князя Константина Константиновича (К.Р.) и как его собственность участвовал в Таврической выставке 1905 года. В последний раз в Москве он экспонировался в 2008 году на выставке Государственной Третьяковской галереи

«...Красоту ее Боровиковский спас».

Практически вся экспонируемая графика из фондов Всероссийского музея А.С. Пушкина подписная - это портреты А.И. Тургенева, И.И. Дмитриева, П.А. Вяземского, Ф.В. Булгарина и Н.И. Греча. Среди них нельзя не обратить внимания на литографированный портрет П.Я. Чаадаева с его автографом. Портрет был создан по просьбе самого Чаадаева французским мастером М.-А. Алофом (Marie Alexandre Alophe, 1812 - 1883) в 1848 году в парижском литографском заведении Гатье. В письме 1848 года С.Д. Полторацкому П.Я. Чаадаев писал по поводу этой литографии: «Не могу скрыть от вас, что мало доволен портретом. Но думаю, что ошибка заключена в присланном вами оттиске: таково мнение сведущих в искусстве людей,



которое я полностью разделяю. Сверх того, литограф, как меня уверяют, является одним из самых известных в Париже...».

Критический отзыв современника вызвал и двойной портрет В.А. Жуковского и А.И. Тургенева 1827 года. С.П. Жихарев, их общий приятель, в письме к А.И. Тургеневу следующим образом отозвался о нем: «Портрет ваш с Жуковским, гравированный в Париже, есть самая плохая карикатура; это не он и не вы, а два каких-то немецких колбасника. И охота вам была на такую дрянь тратить деньги и время». Портрет этот был создан в ателье Э. Бушарди в Париже, о чем свидетельствует надпись по нижнему краю листа, в необычной технике физиотраса, изобретенной Ж.-Л. Кретьеном, и стал единственным двойным портретом, выполненным в подобной технике.



Не часто экспонируется ряд акварельных портретов из фондов Государственного музея А.С. Пушкина (Москва). Среди них - портрет лицейского друга А.С. Пушкина, А.А. Дельвига, написанный К. Шлезингером в 1827 году, и портрет московского знакомого А.С. Пушкина - философа и критика Д.В. Веневитинова, в том же году выполненный П.Ф. Соколовым.

Акварельный портрет еще одного пушкинского знакомого, А.А. Бестужева-Марлинского - писателя, литературного критика, издателя альманаха «Полярная звезда» - был выполнен его братом Н.А. Бестужевым в Сибири, куда братья были сосланы за участие в восстании декабристов.

Обращают на себя внимание два женских портрета из собрания Всероссийского музея А.С. Пушкина. Это портрет А.О. Смирновой работы А.Г. Варнека 1841 года и акварель К.С. Осокина 1836 года, изображающая А.Д. Баратынскую, рожденную Абамелек-Лазареву. Обе они не только являлись адресатами лирики А.С. Пушкина, П.А. Вяземского, И.И. Козлова, И.П. Мятлева, но также сами не чужды были литературной деятельности. А.О. Смирнова навсегда вошла в историю русской пушкинистики как автор увлекательных, хотя и очень субъективных воспоминаний об А.С. Пушкине, а А.Д. Баратынская переводила стихи своих современников на английский и французский языки.

На выставке также можно видеть гравированный портрет З.А. Волконской из фондов Государственного музея А.С. Пушкина - хозяйки литературно-музыкального салона в Москве,



автора стихотворных, прозаических и музыкальных произведений. По воспоминаниям современника, в салоне Волконской, где «все носило отпечаток служения искусству и мысли», собирались выдающиеся личности того времени: писатели, журналисты, поэты, композиторы и художники. Вернувшись в 1826 году из Михайловской ссылки, Пушкин не раз бывал в доме Волконской. По воспоминаниям современника, в первый день знакомства с поэтом Волконская пропела его элегию «Погасло дневное светило», и Пушкин «был живо тронут этим обольщением тонкого и художественного кокетства».



Баратынского (Государственный музей А.С. Пушкина).

Большинство писателей, портреты которых можно видеть на выставке, были литературными единомышленниками или противниками А.С. Пушкина, его друзьями или недругами.



Каждому из них А.С. Пушкин посвятил стихотворное или прозаическое послание, иногда - всего несколько строк - дружеской привязанности, восхищения, любви или откровенной неприязни. Пушкинские строки, сопровождающие портреты, помогают нам лучше понять и личность каждого из изображенных, и характер их отношений с А.С. Пушкиным.

<http://www.pushkinmuseum.ru/?q=exhibition/vystavka-pevcy-krasnorechivy-prozaiki-shutlivy-portrety-russkih-pisateley-i-poetov-iz>



## Речь по поводу открытия памятника А.С. Пушкину в Москве.

Автор - И.С. Тургенев)

Дата создания: 1880. Источник: Тургенев И. С. Собрание сочинений. В 12-ти томах. - М.: «Художественная литература», 1976-1979. Т. 12

**Мм, гг.!**

Сооружение памятника Пушкину, в котором участвовала, которому сочувствует вся образованная Россия и на празднование которого собралось так много наших лучших людей, представителей земли, правительства, науки, словесности и искусства, - это сооружение представляется нам данью признательной любви общества к одному из самых достойных его членов. Постараемся в немногих чертах определить смысл и значение этой любви.

Пушкин был первым русским художником-поэтом. Художество, принимая это слово в том обширном смысле, который включает в его область и поэзию, - художество как воспроизведение, воплощение идеалов, лежащих в основах народной жизни и определяющих его духовную и нравственную физиономию, - составляет одно из коренных свойств человека. Уже предчувствуемое и указанное в самой природе, художество - искусство - является, правда, тоже как подражание, но уже одухотворенное в самой ранней поре народного существования, как нечто отличительно-человеческое. Дикарь каменного периода, начертавший концом кремня на приспособленном обломке кости медвежью или лосиную голову, уже перестал быть дикарем, животным. Но только тогда, когда творческой силою избранников народ достигает сознательно-полного, своеобразного выражения своего искусства, своей поэзии - он тем самым заявляет свое окончательное право на собственное место в истории; он получает свой духовный облик и свой голос - он вступает в братство с другими, признавшими его народами. Недаром же Греция называется родиной Гомера, Германия - Гете, Англия - Шекспира. Мы не думаем отрицать важность других проявлений народной жизни - в сфере религиозной, государственной и др.; но ту особенность, на которую мы сейчас указывали, дает народу его искусство, его поэзия. И этому нечего удивляться: искусство народа - его живая, личная душа, его мысль, его язык в высшем значении слова; достигнув своего полного выражения, оно становится достоянием всего человечества даже больше, чем наука, именно потому, что оно - звучащая, человеческая, мыслящая душа, и душа неумирающая, ибо может пережить физическое существование своего тела, своего народа. Что нам осталось от Греции? Ее душа осталась нам! Религиозные формы, а за ними научные, также переживают народы, в которых они проявились, но в силу того, что в них есть общего, вечного; поэзия, искусство - в силу того, что есть в них личного, живого.

Пушкин, повторяем, был нашим первым поэтом-художником. В поэте, как в полном выразителе народной сути, сливаются два основных ее начала: начало *восприимчивости* и начало *самодетельности*, женское и мужское начало, - осмелились мы бы прибавить. У нас же, русских, позднее других вступивших в круг европейской семьи, оба эти начала получают особую окраску; восприимчивость у нас является двойственною: и на собственную жизнь, и на жизнь других западных народов со всеми ее богатствами - и подчас горькими для нас плодами; а

самодеятельность наша получает тоже какую-то особенную, неравномерную, порывистую, иногда зато гениальную силу: ей приходится бороться и с чуждым усложнением и с собственными противоречиями. Вспомните, мм. г., Петра Великого, натура которого как-то родственна натуре самого Пушкина. Недаром же он питал к нему особенное чувство любовного благоговения! Эта двойственная восприимчивость, о которой мы сейчас говорили, знаменательно отразилась в жизни нашего поэта: сперва рождение в стародворянском барском доме, потом иноземческое воспитание в лицее, влияние тогдашнего общества, проникнутого извне занесенными принципами; Вольтер, Байрон и великая народная война 12-го года; а там удаление в глубь России, погружение в народную жизнь, в народную речь, и знаменитая старушка-няня с ее эпическими рассказами... Что же касается до самодеятельности, то она в Пушкине возбудилась рано и, быстро утратив свой ищущий, неопределенный характер, превратилась в свободное творчество. Ему и восемнадцати лет не было, когда Батюшков, прочитав его элегию «Редеет облаков летучая гряда», воскликнул: «Злодей! как он начал писать!» Батюшков был прав: так еще никто не писал на Руси. Быть может, воскликнув: «Злодей!», Батюшков смутно предчувствовал, что иные его стихи и обороты будут называться пушкинскими, хотя и явились раньше пушкинских. «Le génie prend son bien partout où il le trouve», - гласит французская поговорка. Независимый гений Пушкина скоро - если не считать немногих и незначительных уклонений - освободился и от подражания европейским образцам и от соблазна подделки под народный тон. Подделываться под народный тон, вообще под народность - так же неуместно и бесплодно, как и подчиняться чуждым авторитетам; лучшим доказательством тому служат, с одной стороны, сказки Пушкина, с другой - «Руслан и Людмила», самые слабые, как известно, из всех его произведений. С неуместностью подражания чужим авторитетам согласятся, конечно, все; но, быть может, возразят иные: если поэт в своих трудах не будет постоянно иметь в виду, иметь целью родной народ, он никогда не станет его поэтом: народ, простой народ его читать не будет. Но, мм. г., какой же великий поэт читается теми, кого мы называем простым народом? Немецкий простой народ не читает Гете, французский - Мольера, даже английский не читает Шекспира. Их читает - их нация. Всякое искусство есть возведение жизни в идеал: стоящие на почве обычной, ежедневной жизни остаются ниже того уровня. Это вершина, к которой надо приблизиться. И все-таки Гете, Мольер и Шекспир - народные поэты в истинном значении слова, то есть национальные. Позволим себе сравнение: Бетховен, например, или Моцарт, несомненно, национальные немецкие композиторы, и музыка их по преимуществу немецкая музыка; между тем ни в одном из их произведений вы не найдете следа не только заимствований у простонародной музыки, но даже сходства с нею, именно потому, что эта народная, еще стихийная музыка перешла к ним в плоть и кровь, оживотворила их и потонула в них так же, как и самая теория их искусства, - так же, как исчезают, например, правила грамматики в живом творчестве писателя. В иных, еще более отдаленных от той ежедневной почвы, более в себе замкнутых отраслях искусства самое название «народный» - немыслимо. Есть национальные живописцы: Рафаэль, Рембрандт; народных живописцев нет. Заметим кстати, что выставлять лозунг народности в искусстве, поэзии, литературе свойственно только племенам слабым, еще не созревшим или же находящимся в поработанном, угнетенном состоянии. Поэзия их должна служить другим, конечно, важнейшим целям - сбережению самого их существования. Слава Богу, Россия не находится в подобных условиях; она не слаба и не поработана другому племени. Ей нечего дрожать за себя и ревниво сберегать свою самостоятельность; в сознании своей силы она даже любит тех, кто указывает ей на ее недостатки.

Возвратимся к Пушкину. Вопрос: может ли он называться поэтом национальным, в смысле Шекспира, Гете и др., мы оставим пока открытым. Но нет сомнения, что он создал наш поэтический, наш литературный язык и что нам и нашим потомкам остается только идти по пути, проложенному его гением. Из выше сказанных нами слов вы уже могли убедиться, что мы не в состоянии разделять мнения тех, конечно, добросовестных людей, которые утверждают, что настоящего русского литературного языка вовсе не существует; что нам его даст один простой народ вместе с другими спасительными учреждениями. Мы, напротив, находим в языке, созданном Пушкиным, все условия живучести: русское творчество и русская восприимчивость стройно слились в этом великолепном языке, и Пушкин сам был великолепный русский художник.

Именно: русский! Самая сущность, все свойства его поэзии совпадают со свойствами, сущностью нашего народа. Не говоря уже о мужественной прелести, силе и ясности его языка, эта прямодушная правда, отсутствие лжи и фразы, простота, эта откровенность и честность ощущений - все эти хорошие черты хороших русских людей поражают в творениях Пушкина не одних нас, его соотечественников, но и тех из иноземцев, которым он стал доступен. Суждения таких иноземцев бывают драгоценны; их не подкупает патриотическое увлечение. «Ваша поэзия, - сказал нам однажды Мериме, известный французский писатель и поклонник Пушкина, которого он, не обинуясь, называл величайшим поэтом своей эпохи, чуть ли не в присутствии самого Виктора Гюго, - ваша поэзия ищет прежде всего правды, а красота потом является сама собою; наши поэты, напротив, идут совсем противоположной дорогой: они хлопочут прежде всего об эффекте, остроумии, блеске, и если ко всему этому им предстанет возможность не

оскорблять правдоподобия, так они и это, пожалуй, возьмут в придачу»... «У Пушкина, - прибавлял он, - поэзия чудным образом расцветает как бы сама собою из самой трезвой прозы». Тот же Мериме постоянно применял к Пушкину известное изречение: «Proprie communia dicere», признавая это умение самобытно говорить общеизвестное - за самую сущность поэзии, той поэзии, в которой примиряются идеальное и реальность. Он также сравнивал Пушкина с древними греками по равномерности формы и содержания образа и предмета, по отсутствию всяких толкований и моральных выводов. Помнится, прочтя однажды «Анчар», он после конечного четверостишия заметил: «Всякий новейший поэт не удержался бы тут от комментариев». Мериме также восхищался способностью Пушкина вступать немедленно in medias res, «братъ быка за рога», как говорят французы, и указывал на его «Дон-Жуана», как на пример такого мастерства.

Да, Пушкин был центральный художник, человек, близко стоящий к самому средоточию русской жизни. Этому его свойству должно приписать и ту мощную силу самобытного присвоения чужих форм, которую сами иностранцы признают за нами, правда, под несколько пренебрежительным именем способности к «ассимиляции». Это свойство дало ему возможность создать, например, монолог «Скупого рыцаря», под которым с гордостью подписался бы Шекспир. Поразительна также в поэтическом темпераменте Пушкина эта особенная смесь страстности и спокойствия, или, говоря точнее, эта объективность его дарования, в котором субъективность его личности сказывается лишь одним внутренним жаром и огнем.

Всё так... Но можем ли мы по праву назвать Пушкина национальным поэтом в смысле всемирного (эти два выражения часто совпадают), как мы называем Шекспира, Гете, Гомера?

Пушкин не мог всего сделать. Не следует забывать, что ему одному пришлось исполнить две работы, в других странах разделенные целым столетием и более, а именно: установить язык и создать литературу. К тому же над ним тоже отяготела та жестокая судьба, которая с такой, почти злорадной, настойчивостью преследует наших избранников. Ему и тридцати семи лет не минуло, когда она его вырвала от нас. Без глубокой грусти, без какого-то тайного, хоть и беспредметного негодования, нельзя читать слова, начертанные им в одном его письме, за несколько месяцев до смерти: «Моя душа расширилась: я чувствую, что я могу творить». Творить! А уже отливалась та глупая пуля, которая должна была положить конец его расцветающему творчеству! Быть может, уже отливалась тогда и та, другая пуля, которая предназначалась на убийство другого поэта, пушкинского наследника, начавшего свое поприще с известного, негодующего стихотворения, внушенного ему гибелью его учителя... Но не будем останавливаться на этих трагических случайностях, тем более трагических, что они случайны. Из этой тьмы возвратимся к свету; возвратимся к поэзии Пушкина.

Здесь не место и не время указывать на отдельные его произведения: другие это сделают лучше нас. Ограничимся замечанием, что Пушкин в своих созданиях оставил нам множество образцов, типов (еще один несомненный признак гениального дарования!), - типов того, что совершилось потом в нашей словесности. Вспомните хоть сцену корчмы из «Бориса Годунова», «Летопись села Горохина» и т. д. А такие образы, как Пимен, как главные фигуры «Капитанской дочки», не служат ли они доказательством, что и прошедшее жило в нем такую же жизнь, как и настоящее, как и предсознанное им будущее?

А между тем и Пушкин не избег общей участи художников-поэтов, начинателей. Он испытал охлаждение к себе современников; последующие поколения еще более удалились от него, перестали нуждаться в нем, воспитываться на нем, и только в недавнее время снова становится заметным возвращение к его поэзии. Пушкин сам предчувствовал это охлаждение публики. Как известно, он в последние годы своей жизни, в лучшую пору своего творчества, уже почти ничем не делился с читателями, оставляя в портфеле такие произведения, как «Медный всадник». Он до некоторой степени не мог не чувствовать пренебрежения к публике, которая приучилась видеть в нем какого-то сладкопевца, соловья... Да и как нам винить его, когда вспомнишь, что даже такой умный и проницательный человек, как Баратынский, призванный вместе с другими разбирать бумаги, оставшиеся после смерти Пушкина, не усомнился воскликнуть в одном письме, адресованном тоже к умному приятелю: «Можешь ты себе представить, что меня больше всего изумляет во всех этих поэмах? Обилие мыслей! Пушкин - мыслитель! Можно ли было это ожидать?» Все это Пушкин предчувствовал. Доказательством тому известный сонет («Поэту», 1 июля 1830 г.), который мы просим позволения прочесть перед вами, хотя, конечно, каждый из вас его знает... Но мы не можем противиться искушению украсить этим поэтическим золотом нашу скудную прозаическую речь:

**Поэт**, не дорожи любовью народной!  
Восторженных похвал пройдет минутный шум,  
Услышишь суд глупца и смех толпы холодной,  
Но ты останься тверд, спокоен и угрюм.  
Ты царь: живи один. Дорогою свободной  
Иди, куда влечет тебя свободный ум,  
Усовершенствуя плоды любимых дум,

Не требуя наград за подвиг благородный.  
Они в самом тебе. Ты сам свой высший суд,  
Всех строже оценить умеешь ты свой труд.  
Ты им доволен ли, взыскательный художник?  
Доволен? Так пускай толпа его бранит  
И плюет на алтарь, где твой огонь горит,  
И в детской резвости колеблет твой треножник.

Пушкин тут, однако, не совсем прав - особенно в отношении к последовавшим поколениям. Не в «суде глупца» и не в «смехе толпы холодной» было дело; причины того охлаждения лежали глубже. Они достаточно известны. Нам приходится только воззвать их в вашей памяти. Они лежали в самой судьбе, в историческом развитии общества, в условиях, при которых зарождалась новая жизнь, вступившая из литературной эпохи в политическую. Возникли неожиданные и, при всей неожиданности, законные стремления, небывалые и неотразимые потребности; явились вопросы, на которые нельзя было не дать ответа... Не до поэзии, не до художества стало тогда. *Одинаково* восхищаться «Мертвыми душами» и «Медным всадником» или «Египетскими ночами» могли только записные словесники, мимо которых побежали сильные, хотя и мутные волны той новой жизни. Миросозерцание Пушкина показалось узким, его горячее сочувствие нашей, иногда официальной, славе - устарелым, его классическое чувство меры и гармонии - холодным анахронизмом. Из белораморного храма, где поэт являлся жрецом, где правда, горел огонь... но на алтаре - и сожигал один фимиам, - люди пошли на шумные торжища, где именно нужна метла... и метла нашлась. Поэт-эхо, по выражению Пушкина, поэт центральный, сам к себе тяготеющий, положительный, как жизнь на покое, - сменился поэтом-глашатаем, центробежным, тяготеющим к другим, отрицательным, как жизнь в движении. Сам главный, первоначальный истолкователь Пушкина, Белинский, сменился другими судьями, мало ценившими поэзию. Мы произнесли имя Белинского - и хотя ничья похвала не должна раздаваться сегодня рядом с похвалой Пушкину, но вы, вероятно, позволите нам почтить сочувственным словом память этого замечательного человека, когда узнаете, что ему выпала судьба скончаться именно в день 26-го мая, в день рождения поэта, который был для него высшим проявлением русского гения! Возвращаемся к развитию нашей мысли. Вслед за скоро прерванным голосом Лермонтова, когда Гоголь стал уже властителем людских дум, зазвучал голос поэта «мести и печали», а за ним пошли другие - и повели за собою нарастающие поколения. Искусство, завоевавшее творениями Пушкина право гражданства, несомненность своего существования, язык, им созданный, - стали служить другим началам, столь же необходимым в общественном устройении. Многие видели и видят до сих пор в этом изменении простой упадок; но мы позволим себе заметить, что падает, рушится только мертвое, неорганическое. Живое изменяется органически - ростом. А Россия растет, не падает. Что подобное развитие - как всякий рост - неизбежно сопряжено с болезнями, мучительными кризисами, с самыми злыми, на первый взгляд безвыходными противоречиями - доказывать, кажется, нечего; нас этому учит не только всеобщая история, но даже история каждой отдельной личности. Сама наука нам говорит о необходимых болезнях. Но смущаться этим, оплакивать прежнее, все-таки относительное спокойствие, стараться возвратиться к нему - и возвращать к нему других, хотя бы насильно - могут только отжившие или близорукие люди. В эпохи народной жизни, носящие названия переходных, дело мыслящего человека, истинного гражданина своей родины - идти вперед, несмотря на трудность и часто грязь пути, но идти, не теряя ни на миг из виду тех основных идеалов, на которых построен весь быт общества, которого он состоит живым членом. И десять и пятнадцать лет тому назад - празднество, которое привлекло нас всех сюда, было бы приветствовано как акт справедливости, как дань общественной благодарности; но, быть может, не было бы того чувства единодушия, которое проникает теперь нас всех, без различия звания, занятий и лет. Мы уже указали на тот радостный факт, что молодежь возвращается к чтению, к изучению Пушкина; но мы не должны забывать, что несколько поколений подряд прошли перед нашими глазами, - поколений, для которых самое имя Пушкина было не что иное, как только имя, в числе других обреченных забвению имен. Не станем, однако, слишком винить эти поколения: мы старались вкратце изобразить, почему это забвение было неизбежно. Но мы не можем также не радоваться этому возврату к поэзии. Мы радуемся ему особенно потому, что наши юноши возвращаются к ней не как раскаявшиеся люди, которые, разочарованные в своих надеждах, утомленные собственными ошибками, ищут пристанища и успокоения в том, от чего они отвернулись. Мы скорее видим в том возврате симптом хотя некоторого удовлетворения; видим доказательство, что хотя некоторые из тех целей, для которых считалось не только дозволенным но и обязательным приносить все не идущее к делу в жертву, сжимать всю жизнь в одно русло, - что эти некоторые цели признаются достигнутыми, что будущее сулит достижение других - и ничто уже не помешает поэзии, главным представителем которой является Пушкин, занять свое законное место среди прочих законных проявлений общественной жизни. Была пора, когда изящная литература служила почти единст-

венным выражением этой жизни; потом наступило время, когда она совсем сошла с арены... Прежняя область была слишком широка; вторая сузилась до ничтожества; найдя свои естественные границы, поэзия упрочится навсегда. Под влиянием старого, но не устаревшего учителя - мы твердо этому верим - законы искусства, художественные приемы вступят опять в свою силу и - кто знает? - быть может, явится новый, еще неведомый избранник, который превзойдет своего учителя и заслужит вполне название национально-всемирного поэта, которое мы не решаемся дать Пушкину, хоть и не дерзаем его отнять у него.

Как бы то ни было, заслуги Пушкина перед Россией велики и достойны народной признательности. Он дал окончательную обработку нашему языку, который теперь по своему богатству, силе, логике и красоте формы признается даже иностранными филологами едва ли не первым после древнегреческого; он отозвался типическими образами, бессмертными звуками на все веяния русской жизни. Он первый наконец водрузил могучей рукою знамя поэзии глубоко в русскую землю; и если пыль поднявшейся после него битвы затемнила на время это светлое знамя, то теперь, когда эта пыль начинает опадать, снова засиял в вышине водруженный им победоносный стяг. Сияя же, как он, благородный медный лик, воздвигнутый в самом сердце древней столицы, и гласи грядущим поколениям о нашем праве называться великим народом потому, что среди этого народа родился, в ряду других великих, и *такой* человек! И как о Шекспире было сказано, что всякий, вновь выучившийся грамоте, неизбежно становится его новым чтецом - так и мы будем надеяться, что всякий наш потомок, с любовью остановившийся перед изваянием Пушкина и понимающий значение этой любви, тем самым докажет, что он, подобно Пушкину, стал более русским и более образованным, более свободным человеком! Пусть это последнее слово не удивит вас, мм. гг.! В поэзии - освободительная, ибо возвышающая, нравственная сила. Будем также надеяться, что в недалеком времени даже сыновьям нашего простого народа, который теперь не читает нашего поэта, станет понятно, что значит это имя: Пушкин! - и что они повторят уже сознательно то, что нам довелось недавно слышать из бессознательно лепечущих уст: «Это памятник - учителю!»

И.С. Тургенев.

На лире скромной, благородной  
Земных богов я не хвалил  
И силе в гордости свободной  
Кадиллом лести не кадил.  
Свободу лишь учася славить,  
Стихами жертвуя лишь ей,  
Я не рождён царей забавить  
Стыдливой музою моей.  
Но, признаюсь, под Геликоном,  
Где Касталийский ток шумел,  
Я, вдохновенный Аполлоном,  
Елисавету втайне пел.  
Небесного земной свидетель,  
Воспламенённую душой  
Я пел на троне добродетель  
С её приветною красой.  
Любовь и тайная свобода  
Внушали сердцу гимн простой,  
И неподкупный голос мой  
Был эхо русского народа.

1818 А.С. Пушкин.



*Люди могут забыть, что вы сказали. Могут забыть, что вы сделали.  
Но никогда не забудут, что вы заставили их почувствовать.*

# СУНГАРИ

Над молочной рекою - шафранный закат,  
Лижут воду огней языки.  
У камней берегов, беспокоясь лежат  
Огневые на поле круги...

Раскатай, раскидай голубую лазурь  
Как лепёшку в маньчжурской муке!  
Загруженные стаи лениво ползут  
По молочной и жирной реке...

Паруса-одеяла, бобы и мешки...  
Запотелая, голая грудь...  
Ночью месяц-меняла на бликах реки  
Золотую затеял игру...

А в молочной воде утонувший шафран  
Начал рыхлые щупать тела.  
И, сорвавшись с цепей, завизжал ураган,  
Стала ночь над рекою бела.

И от тихих легенд, от мечтательных Будд –  
Явь забила в слезах и песке...  
Только серые ленты кругами ползут  
По молочной и хищной реке.

**А. АЧАИР.**

## ПОМНЮ



Помню... голосом звучным и нежным  
Пела скрипка, рояль подпевал...  
И мне чудилось, - в камень прибрежный  
Далеко где-то плещется вал.

Волны звуков росли, надвигались,  
Становилось мощней и вольней,  
И аккордом безумным кончались,  
Разбиваясь о груды камней.

И опять из безбрежности водной  
Возникал новых звуков мотив,  
Как малюток-сироток голодных  
Нарастающий слезный призыв...

И в душе хаос звуков природы,  
Хаос чувств разнородных рождает,  
Будто голос безумной свободы  
То - смеялся, то - горько рыдал...

**Н. Светлов**



*Есть случаи, где женщина, как ни слаба и бессильна характером в сравнении с мужчиною,  
но становится вдруг тверже не только мужчины, но и всего что ни на есть на свете.*

Н. Гоголь "Мертвые души"

*Боль, которую ты чувствуешь сегодня,  
превратится в силу,  
которую ты почувствуешь завтра.*



## ДЕВОЧКА

Девочка скользнула торопливо  
Стянутыми ножками ступая,  
На восток, где одинокой ивы  
На траву ложилась тень густая.

Серебром браслетов прозвенела,  
Оглянувшись, нет ли там погони:  
Вдруг увидит мать, что так, без дела  
Скрылась помечтать на этом склоне?

Желтолицая, глаза раскосы,  
Разметались рукава халата,  
Красной шерстью перевиты косы,  
В волосах горит цветок граната.

Хорошо сидеть, обняв колени  
На причале у реки любимой,  
И следить, следить, как в грязной пене  
Щепки по воде несутся мимо.

Мимо, вдаль, куда-то - неизвестно.  
К новым городам, в жару иль стужу.  
И она, покинув это место,  
Уплывет на лодке вместе с мужем.

А теперь смыкаются ресницы  
От объятий алого заката.  
Что? Из солнца вылетает птица,  
Осиянна, радужна, крылата.

Будто птицы с материнских чашек!  
Ближе. Ослепительно сверкнула  
Яркой молнией цветных стекляшек,  
Девочка в том блеске потонула

А потом от всех блюла ревниво  
Тайну лучезарного виденья  
Птицы царственной под сенью ивы...  
Протекли года с того мгновенья, -

Девочке правления кормило  
Рок вручил, отметив: пронеси!  
И она в историю вступила  
С августейшим именем Цы-Си.

**М. КОРОСТОВЕЦ.**

(Харбин – Брисбен)

# Пасхальные яйца

Вечером, накануне Пасхи, дед Иван решил покрасить яйца. Но чем? Конечно же, старым проверенным способом - луковой шелухой.

Сложив десяток куриных яиц в алюминиевую кастрюльку с чуть мятым боком - последствием ее долгой кухонной жизни, дед Иван вытянул из-под стола картонную коробку. Увлеченный своим занятием, он совершенно забыл, что лук в этом году у него не уродился и, увидев содержимое коробки, растеряно пробормотал:

- Вот ведь... незадача-то, какая...

На дне коробки среди нескольких пластинок чешуи сиротливо лежало три сморщенных луковицы. Дед Иван задумчиво покатавал своим корявым пальцем эти несчастные луковичные головки по дну коробки. Но лука от этого не прибавилось. Идти в сельпо было уже поздно. Да и не «ближний свет». Дед Иван отчаянным пинком отправил картонную коробку на свое законное место.

- Ну и сварю их так... обычным способом... в воде, - решительно рассудил он.

Однако желание достойно раскрасить куриную продукцию оставалось и продолжало настойчиво разгонять скудные дедовы мысли в творческом направлении.

Вода интенсивно кипела, щедро выплескивая содержимое кастрюльки на раскаленную плиту, от чего та недовольно шипела, злясь на неаккуратность хозяина. Но дед Иван не обращал на ворчание плиты никакого внимания - он находился в глубоком умственном поиске.

«Ну, не суриком же их красить! - думал дед Иван, вспоминая, что у него с лета оставалось примерно четверть банки железного сурика. - Да и замерз он, поди... когда теперь оттает? А мне сейчас надо. А сколько еще времени он сохнуть будет? Да и можно ли... красить куриные яйца... суриком-то этим самым... они же не железные. - Но тогда чем?!»

Дед Иван перебирал в уме разнообразные варианты. Мыслимые и немислимые. Пока в результате такого комбинаторного анализа его внимание не остановилось на овощах. И тут он вспомнил про свеклу. И ее удивительную способность оставлять красный след на всем, с чем она соприкасается...

- О-о-о! - радостно воскликнул дед Иван, как будто только что сделал открытие мирового значения. Открытие, без которого, не понятно как вообще, могло жить человечество. Ему показалось, что решение проблемы найдено.

А тем временем яйца уже сварились. Из трех верхних яиц, растрескавшихся от сильного кипения, выдулись белковые шары, безнадежно испортив результат варки. Дед Иван отделил эти пузыри от поверхности скорлупы и покрутил их в руках, будто соображая, как вернуть все это обратно в яйцо. Но, не придумав ничего подходящего, недовольно проворчал:

- Опять все неладно получается, - и тут же отправил побочный продукт варки в свой щербатый рот.

Однако последующая ревизия содержимого кастрюльки показала, что остальные семь яиц выглядели вполне прилично.

- Ну-у, хотя бы так, - удовлетворенно констатировал дед Иван, выкладывая целые яйца на вафельное полотенце и продолжая шамкать челюстями, доедая яичные пузыри.

Освободив кастрюльку, он принес небольшую свеклу, вымыл ее и разрезал пополам. При этом пальцы его рук, нож, разделочная доска и даже стол получили изрядную порцию свежего свекольного сока. Вымазались, одним словом.

- Во-о-о! Ха-ха-ха... то, что надо! А красит-то как... ну, прям, весь уделался! - довольно «верещал» дед Иван, - и как я сразу-то не скумекал, дурак старый!

Он выбрал подходящее яйцо и начал старательно малевать его поверхность половинкой корнеплода. Однако то ли художник из деда Ивана был никудышный, то ли дедова свекольная «акварель» не подходила для яично-скорлупного холста, но натюрморт получился не выразительным. Цвет был не очень красный, а заполнение неравномерное и с множеством разводов.

- Тьфу, ты! Да что ты будешь делать! Господи... Опять все неладом, - восклицал расстроенный дед Иван, откладывая в сторону свое «высокохудожественное» произведение. Казалось, теперь уже он окончательно должен был покориться судьбе, но природная упертость таежного человека заставила его продолжить дальнейшие изыскания. Быть бы ему, в другой жизни, великим ученым-исследователем...

И тут дед Иван неожиданно увидел одиноко стоящий на подоконнике небольшой пузырек с йодом. «О-о-о! Это в самый раз будет!» - обрадовался он. Затем, сдув слой залежавшейся пыли, вылил содержимое стеклянной емкости на кусочек тряпочки и обильно протер йодной настойкой оставшиеся яйца.

Теперь и пальцы деда Ивана представляли некое подобие художественного произведения - они были вымазаны не только свекольным соком, но и морским йодом. Тем не менее, самобытный «художник-авангардист» был очень доволен своим результатом: такие красивые яйца получились! золотисто-коричневые... мощный насыщенный цвет!

Вдоволь налюбовавшись своей работой, дед Иван, аккуратно сложил все выкрашенные яйца в большую эмалированную миску и отправился спать. Уснул он сразу же, как только принял горизонтальное положение, хрипло сопя и чему-то улыбаясь во сне.

Рано утром дед Иван проснулся как обычно и, протирая ладонью слезящиеся старческие глаза, сел на край кровати.

- Христос воскрес! - торжественно промолвил он, и тут же сам себе ответил: - Воистину воскрес!

Всунув ноги в войлочные пимы, он перекрестился и отправился на кухню.

Подойдя к столу, он... остолбенел.

На столе в большой эмалированной миске лежали яйца белоснежно цвета. И только одно, помазанное соком свеклы, выделялось среди своих собратьев неравномерной бледно-красной окраской.

Йод-то улетучился.

Сайт Проза.ру



Александр Стешенко.

**Х**ристос воскресе, дорогие!  
Бессильно оказалось зло.  
И сквозь все горести земные  
Добро из сердца не ушло.

И не ушла из сердца вера,  
Любовь по-прежнему жива.  
Любовь – одна на свете мера  
Делам, поступкам и словам.

И вот в словах своих пытаюсь  
Вам всю любовь мою сказать.  
Молюсь и искренне желаю:  
Да будет с Вами благодать,

**И** Божие благословение!  
Удачи, счастья, всяких благ...  
Пусть не тревожит Вас неверье -  
Души, спасенья лютый враг.

Всего хорошего, родные!  
И пожелание моё  
Ещё - молитесь за Россию,  
Куда и как нам без Неё?!

И будем верить, что воскреснет,  
Восстанет снова третий Рим.  
И каждый с Родиною вместе,  
Да будет Господом храним

И будем верить в Воскресенье!  
И будем верить и любить.  
Любовь примите, поздравленье,  
А что не так, - прошу простить...

Эдуард Ковшевный. Россия.



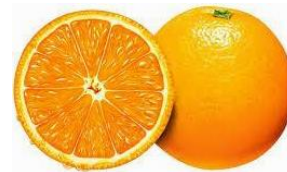
**Уважаемые читатели!** В конце прошлого года в редакцию было прислано стихотворение "В яслях лежит ребенок", для рождественского выпуска Жемчужины № 61. Имя автора - митр. Владимира Сабодан - было указано неверно: кто-то внес в православную среду ошибку и она получила широкое распространение. В действительности - это произведение поэта Александра Солодовникова. Редакция просит прощения за досадную ошибку.

#### Цитаты из кино (© Неподдающиеся)

- Слушай, Грачкин, у тебя совесть есть?  
- А что? Одолжить? Пожалуйста.

*Опыт увеличивает нашу мудрость,  
но не уменьшает нашей глупости.*  
**Бернард Шоу.**

# Апельсиновое солнце



- Я последний раз спрашиваю, почему Людовик XIV заключил своего министра Фуке в тюрьму? – вопрос учительницы был обращен ко мне и звучал угрожающе, а ее физиономия становилась все больше похожей на бифштекс.

Кто-то из девочек хотел было подсказать, но учительница мгновенно пресекла попытку, ударив кулаком по столу. Немного подумав, я ответил, что, наверное, он, этот самый Фуке, плохо себя вел, или, может быть, съел суп Людовика. После этих слов лицо учительницы окончательно превратилось в бифштекс, и, указывая рукой на дверь, она проорала: «Вон из класса!»

В классе раздался хохот. Причина столь бурной реакции была понятна. Учительнице почему-то показалось, будто я издеваюсь над историей. Что ж, мне ничего не оставалось, как выйти в сопровождении ее громких негодующих возгласов, смысл которых заключался в том, что положительную оценку я смогу получить только через ее труп.

А я вообще-то всегда думал, что до тех пор, пока человек жив, положительный знак «плюс» присутствует во всем, что его сопровождает. И даже в смерти есть свой положительный смысл. Согласитесь, кресты на могилах гипотетически тоже можно принять за знаки «плюс».

В тот весенний день я видел свою бабушку в последний раз.

Благодаря всему случившемуся в школе, благодаря истории и, наконец, благодаря учительнице, выгнавшей меня из класса, я оказался дома на час раньше. Это был для меня тоже своего рода плюс. И, кстати, насчет истории. Позже я все-таки узнал, что заточение Фуке в тюрьму произошло из-за банальной зависти Людовика XIV к его богатству и великолепному апельсиновому саду. Избавившись таким своеобразным способом от хозяина сада, король приказал перевезти желанные апельсиновые деревья к себе в Версаль.

День выдался теплый, но ветреный. Я поднялся по лестнице, открыл дверь своим ключом и вошел в дом. Мамы дома не было. Видимо, пошла в аптеку за лекарством. Бабушка лежала на кровати. Услышав мои шаги, она тихонько позвала меня и сказала: «Миленький мой, как хорошо, что ты сегодня так рано вернулся из школы! Подойди ко мне, я расскажу тебе, где я спрятала свои драгоценности». И, хитро подмигнув мне, улыбнулась. Я обожал свою бабушку. Она была необычная, особенная. Умела шутить, даже когда ей было плохо. Согласитесь, не все умеют веселиться в трудном положении.

Я подсел к бабушке на кровать и рассказал обо всем, что произошло за день. Она, как всегда, с ласковым выражением лица слушала меня, но порой мне казалось, что она думает о чем-то своем. И действительно, бабушка вдруг сказала:

- Миленький мой, знаешь, чего я хочу?

- Чего, бабуля? – удивленно спросил я.

- Мне хочется выйти замуж, - ответила она и улыбнулась.

- А кто тебя возьмет в жены, бабуль? Тебе же 80 лет. Не хочу тебя огорчать, но твой поезд давно ушел.

Я принял ее желание за очередную шутку и уже хотел встать, но она, взяв меня за руку, сказала:

- А еще мне очень хочется апельсинов. Миленький, купи мне апельсин.

Я понял, что это было сказано не в шутку и ей действительно захотелось апельсина. Бабушка словно просила меня исполнить ее последнее желание. Ведь не зря говорят, что часто перед смертью человеку очень сильно чего-нибудь хочется.

Я сунул руку в карман и быстро пересчитал мелочь.

- Ладно, бабуль, сейчас я сбегаю и куплю тебе апельсин, - сказал я, надевая кепку. Выйдя на улицу, я сел в трамвай. Все мысли были только об одном: хватит ли у меня денег хотя бы на один апельсин.

На нужной остановке я вышел из трамвая и направился к фруктовой лавке. Продавец был толстый и лысый. Он угрюмо уставился на меня. «Как инквизитор», - почему-то подумал я. Мне даже представилось, как его предки сжигают на костре Джордано Бруно. Вот только его лысая голова выглядела беззащитной и напоминала большой подсолнух. А эти огромные цветы всегда казались мне какими-то особенными, трогательно-несуразными, немного не от сего

мира. Может быть потому, что их любил рисовать Ван Гог, которого давно уже с этим миром ничего не связывает. Правда, этот «подсолнух» был явно другим, отнюдь не вангоговским. Выждав минуту, он спросил так же угрюмо, как и смотрел:

- Ну, что тебе надо?

Я, указывая на витрину, сказал, что хочу купить апельсин. Затем вытащил из кармана монеты и высыпал их на железные весы. Торговец ухмыльнулся. Так, что мне показалось, будто посередине улицы разожгли большой костер, а я – последняя жертва инквизиции. Наконец он хриплым голосом проговорил:

- Что это? Неужели ты думаешь, что на эту мелочь можно купить апельсин? Да у тебя тут не хватит даже на его половину! А знаешь ли ты, сколько в апельсине витаминов? Ты представляешь себе, что это значит - съесть солнце? Ты можешь себе вообразить, что происходит с каждой клеткой твоего организма, когда сок апельсина попадает вовнутрь?

Я буркнул, что точно не уверен, но где-то читал, что в одном апельсине содержится шестьдесят восемь процентов витамина С. Дневная норма для взрослого человека – 60 мг. В одном апельсине содержится примерно столько же.

- Там есть еще и сахар. А ты знаешь, сколько нынче стоит килограмм сахара? – продолжал меня пытаться продавец-инквизитор.

Я сказал, что сахар мне не нужен, а нужен апельсин. И покупаю я его не для себя, а для бабушки, которая сейчас очень больна.

Он призадумался. Было очень похоже, что он собирается продать мне апельсин. Но вдруг в лавку вошли две женщины-толстушки и стали покупать фрукты.

Ах, если бы они заглянули туда чуть позже! Тогда бы мне повезло с апельсином. Но не все в жизни происходит так, как нам хотелось бы. Тетки своим приходом все испортили и «инквизитор» проворчал: «Выйди отсюда, не мешай мне работать». Еще бы, они заполнили собой весь магазин, и для меня там места уже не было.

Я вышел на улицу. Как назло, поблизости больше не было ни одной фруктовой лавки. Я отчаянно озирался по сторонам. Тем временем толстушки тоже вышли из магазина и сели в трамвай. Я стоял неподалеку, уже ни на что, не надеясь, как вдруг услышал голос лавочника:

- Шестьдесят восемь процентов, говоришь?

Я кивнул. Он позвал меня в магазин и там, разрезав ярко-оранжевый шарик пополам, сказал:

- На твои копейки я могу тебе дать только половину апельсина. На, носи ее своей бабушке.

Сказав это, он положил монетки, которые я дал ему, в карман своего белого халата. Этим движением он как будто налил воды в костер, в котором собирался меня сжечь. Я облегченно вздохнул, взял половинку апельсина и вышел. Когда я оглянулся, то увидел, как «инквизитор» с аппетитом дожевывает другую половинку апельсина. Почему-то вспомнились его слова: «Ты представляешь, что это значит – съесть солнце?»

Я поднес апельсин к носу. От его аромата у меня даже голова закружилась. Сразу захотелось вонзиться зубами в сочную оранжевую мякоть, как это только что сделал лавочник. Но я отогнал эти мысли и побежал домой. На трамвай у меня не было денег, да и ждать его я не мог. И времени было слишком мало, ведь дома ждала больная бабушка.

Всю дорогу меня одолевали разные мысли. Я очень любил бабушку и желал ей долгой жизни. Если она сегодня съест эту половину апельсина, думал я, то проживет еще один день. А завтра я принесу ей целый апельсин, и тогда она проживет целых два дня. И так я буду носить ей апельсины каждый день. С другой стороны, если бабушка умрет, то все апельсины достанутся мне. В общем, в обоих случаях я ничего не теряю, но сегодня во что бы то ни стало этот апельсин должна съесть бабушка.

Наконец я дошел до своего переулка, вошел в дом и поднялся на верхний этаж. В комнате было много людей. Я почему-то сразу догадался, что опоздал. Мама плакала. Высокий мужчина в белом халате погладил меня по голове и вышел. Я стоял как остолбенелый и не знал, что делать. Потом вспомнил про половину апельсина, которую так и держал в руке. Она стала совсем горячей и жгла ладонь. Я сел на стул, с которого только что встал доктор. Я понимал только одно. Что бабушки больше нет на этом свете. Она не дождалась меня. Я взглянул на кровать. Бабушкино лицо было покрыто простыней. Вдруг я почувствовал, что все присутствующие в комнате смотрят на меня, сидящего на стуле, уставившегося на бабушкину кровать и сжимающего в руке апельсин. И тогда я медленно поднес апельсин ко рту и откусил немного сочной мякоти. Ее вкус действительно напомнил мне солнце. И вдруг я зарыдал. Так, рыдая, я съел весь апельсин.

Что происходило дальше, я плохо помню. Кажется, вечер я провел у дяди и даже переночевал там. Я лежал на диване и через стенку слышал, как взрослые обсуждали, где похоронить бабушку. На старом кладбище не было места. А новое располагалось довольно далеко от города. И никто не хотел хоронить бабушку там.

Перед весной туда посеяли арбуз. Кто-то вспомнил, что некоторые народы хоронят покойников прямо во дворе. Засыпая, я подумал, что, наверное, все их дворы, улицы и сады сплошь утыканы крестами.

Утро было мрачным и тягостным. Я встал с кровати, но из комнаты так и не вышел. Бабушку похоронили без меня. Мама не хотела, чтобы я увидел ее мертвой. Я смотрел в окно и думал. О том, что бабушка уже наверняка на небесах. И, возможно, уже разгуливает где-нибудь в раю среди благоухающих апельсиновых деревьев. Ей ярко светит солнце такого же апельсинового цвета. И она смотрит на него. От этих мыслей мне стало немного веселее.

Я посмотрел на небо. Солнца не было и в помине. Но я знал, что оно есть... И на него смотрит сейчас моя бабушка.



**Йосси Верди.** Москва.

*Доброта - это то, что может услышать глухой и увидеть слепой.* Марк Твен.



## Болят душа закатами

Болят душа закатами.  
И в мареве своем  
земля алеет хатами  
и полем и гумном.

Стада бредут усталые  
склонившись над травой,  
и всюду небо алое  
пылает над землей.

Шумит, поет дубравушка  
и сердце застучит,  
когда Россия-матушка  
меня благословит;

Когда песком обсыпанный  
за ели ухвачусь  
и до реки извиистой  
с обрыва вниз скачусь.

И широко распахнутой  
душой приму простор,  
и красоту закатную  
и чистый небосвод.

А Русь врачует ласкою,  
но в тишине речной  
душа болят закатами  
и русской стороной.

**Елена Русецкая.**

Сайт «Свете Тихий»

## Тишина

В прелестном моём захоlustье,  
Пьянее и слаще вина,  
Нежнее пленительной грусти -  
Любимая мной тишина.

Лишь где-то, далеко, далеко  
Поют по утрам петухи.  
И сами слагаются строки,  
Слагаются строки в стихи.

О вечере розовом, тающем,  
О небе с прекрасной звездой,  
О жизни моей ускользающей,  
Бегущей сквозь пальцы водой.

О счастье... А где оно, счастье?  
Ушло навсегда, ну и пусть.  
Осталась мне страсть бесстрастья,  
Безгрустная эта грусть.

**М.Н. Волин.** Австралия.



*Персик был когда-то горьким миндалем,  
а цветная капуста - это обычная капуста,  
получившая позднее высшее образование.*

**Марк Твен.**



# Основы христианской культуры



## 11. О НИГИЛИЗМЕ И ЖАЛОСТИ

Идея любви, выдвинутая Л.Н. Толстым и его последователями, страдает, однако, не только чертами наслажденчества, безволия, сентиментальности, эгоцентризма и противно-общественности. Она описывает и утверждает в качестве идеального состояния чувство в известном смысле бездуховное и противодуховное; и эта особенность сентиментальной любви имеет, может быть, наибольшее значение для проблемы сопротивления злу.

Как уже показано выше, все мирозерцание Л.Н. Толстого выращено им из морального опыта, который заменил или вытеснил собою все другие источники духовности в человеке, обесценив их или устранив их совсем.

Так, моральный опыт заменяет собою религиозный опыт и занимает его место. Мораль выше религии, она судит своим критерием всякое религиозное содержание и утверждает пределы своего опыта как обязательные для религии. Вся глубина религиозного восприятия, религиозного предмета, религиозной тайны и символики, все богатство положительной религии - критически и скептически пропускается сквозь душную теснину личного морального переживания, полуслепого, ограниченного и самодовольного. Вооруженный «простым здравым рассудком» во всей его плоской скудости, моралист перебирает и разбирает догматы и обряды христианской церкви, отмечая все, что ему кажется странным и непонятным, и принимая каждое близорукое соображение свое за проявление критической честности и мудрости. Идея о том, что религиозным измерением проникается, освящается и углубляется вся духовная культура и что постольку житейски-обывательский рассудок с его «трезвостью» и прозаичностью теряет свою компетентность, - остается ему чуждою; ибо он не видит того, что всякое духовное состояние человека (а не только моральное) ставит его перед лицом Божие, дает ему живой, самоценный опыт тайны и скрытого в тайне откровения. И не подозревая, по-видимому, что творимое им дело есть в глубоком смысле пошлое дело, он издевается над недоступною для него тайною и глубиною и придает своему рассудочно-моральному мирозерцанию характер религиозного нигилизма.

Подобно этому, моральный опыт утверждает свое верховенство и в сфере науки. Не усматривая духовную самоценность истины и ее измерения, моралист считает себя верховным судьей надо всем тем, что делает ученый: он судит его дело и его предметы, измеряя все мерою моральной пользы и морального вреда, судит, осуждает и отвергает, как дело праздное, пустое и даже развратное. Вся научная культура, поскольку она не обслуживает заданий сентиментальной морали и не поставляет моралисту «нужного» ему материала, объявляется делом дурным и вредным, порождением праздного любопытства, профессионального тщеславия и обмана. Умственный труд вообще не есть труд, а симуляция и болтовня ленивого и хитрого человека. Духовно-самоценная категория истины ничего не говорит личному опыту Льва Толстого, и он отмечает ее, не понимая того, что измерением истины как таковой проникается, осмысливается и поддерживается вся духовная культура: ибо в действительности всякое духовное состояние человека таит в себе некую истину и несет ему некое ведение. Границы личного духовного опыта оказываются узаконенными и здесь. Научное знание рассматривается с точки зрения морального утилитаризма, и это придает всему мирозерцанию характер своеобразного научного нигилизма.

Тот же самый моральный утилитаризм торжествует и в отношении к искусству. Самоценность художественного видения отвергается, и искусство превращается в средство, обслуживающее мораль и моральные цели. Художественность допускается, если она несет в себе «доступное всем людям всего мира» морально-полезное поучение, и отмечается как произведение праздности и проявление разврата, если она в себе его не несет или если она «учит» чему-нибудь морально непризнанному. Всякое произведение искусства, не говорящее личному опыту морального утилитариста, отвергается и высмеивается, зато всякий морально-полезный продукт одобряется и превозносится, нередко вопреки своей эстетической несостоятельности.

Рассудок моралиста последовательно делает все выводы, рисуясь своею прямолинейностью и парадоксами. Эстетическое измерение извращается и угасает; всепроникающая, утончающая и углубляющая сила художественного видения, призванная не морализировать, а видеть в образах Божественное и строить форму человеческого духа, - слабеет и меркнет, уступая место нравоучительному резонерству. Моралист стремится навязать искусству чуждую ему природу и утрачивает его самобытность, его достоинство и его призвание. Он сам видит это, сознает и выговаривает это в форме определенного принципа и учения и тем самым придает всей своей теории черту своеобразного эстетического нигилизма.

Еще острее оказывается то отрицание, с которым моралист подходит к праву и государству. Духовная необходимость и духовная функция правосознания ускользает от него совершенно. Вся эта сфера драгоценного, воспитывающего душу духовного опыта не говорит его личному самочувствию ничего; он видит здесь только самую поверхностную внешность событий и деяний; он квалифицирует эту внешность как грубое «насилие» и произвольно характеризует скрывающиеся за этим «насилием» намерения как злые, мстительные, своекорыстные и порочные. Право и государство не только не воспитывают людей, но развивают в них дурные черты и склонности; государственные деятели отвечают созерцательно-организованным и лицемерно-оправдываемым злом на «редкие попытки насилия», исходящие от «так называемых убийц, грабителей и воров» и других несчастных, падших братьев. Сочувствие сентиментального моралиста оказывается всецело на стороне этих несчастных, а деятельность государственно мыслящих патриотов объявляется «самой пустой и притом же вредной человеческой деятельностью». Естественно, что гнев его обрушивается с особенной силой на всю ту сферу духовного компромисса, к которой оказывается вынужденной государственная власть и личное участие в которой является для гражданина несением ответственного и почетного бремени: функция охраны, функция пресечения, функция суда, функция наказания, функция меча - глубоко возмущают сентиментальную душу и вызывают у нее слова отвращения и клеймящего негодования. Понятно также, что вместе с отвержением права как такового отвергаются и все оформленные правом установления, отношения и способы жизни: земельная собственность, наследование, деньги, которые «сами по себе суть зло», иск, воинская повинность, суд и приговор - все это смывается потоком негодующего отрицания, иронического осмеяния, изобразительного опорочения. Все это заслуживает в глазах наивного и щеголяющего своею наивностью моралиста - только осуждения, неприятия и стойкого пассивного сопротивления. Неизбежным выводом из всего этого отвержения является, наконец, и отрицание родины, ее бытия, ее государственной формы и необходимости ее обороны. Моральное братство объемлет всех людей без различия расы и национальности и тем более независимо от их государственной принадлежности: братского сострадания достойны все, а «насилия» не заслуживает никто; надо отдать отнимающему врагу все, что он отнимает, надо жалеть его за то, что ему не хватает своего, и приглашать его к переселению и совместной жизни в любви и братстве. Ибо у человека нет на земле ничего такого, что стоило бы оборонять на жизнь и смерть, умирая и убивая.

Сентиментальный моралист не видит и не разумеет, что право есть необходимый и священный атрибут человеческого духа, что каждое духовное состояние человека есть видоизменение права и правоты и что ограждать духовный расцвет человечества на земле невозможно вне принудительной общественной организации, вне закона, суда и меча. Здесь его личный духовный опыт молчит, а сострадательная душа впадает в гнев и «пророческое» негодование. И в результате этого его учение оказывается разновидностью правового, государственного и патриотического нигилизма.

При таком слепом и наивно морализирующем подходе все огромное хранилище духовной культуры оказывается опустошенным и сокровища его извергнутыми, все творческое духовное напряжение человеческого духа оказывается осужденным и запрещенным. Религиозно обескрыленный, осмеянный и низведенный; познавательно обессиленный и ослепленный; художественно урезанный и поработанный; лишенный прав, обороны и родины - человек остается к концу этого противодуховного цикла жалким существом об одном, моральном измерении, и высшим призванием его оказывается самопонижение к безвольно-сентиментальной жалости. Сентиментальный моралист знает только одно измерение совершенства - моральное; вся сущность духа, вся жизнь духа сводится для него к моральному самоулучшению; и все моральное достижение сводится для него к насыщению души жалостливым состраданием. И в результате этого все понимание человека, добра и зла - становится мелким, плоским и бездуховным.

Если усвоить эту точку зрения и довериться ей, то окажется, что человек не есть индивидуальный дух с живым отношением к живому и личному Богу, со священными правами на

участие в жизни богосозданного мира, с видением нечувственной тайны и чувственной красоты, с изучением закона и ведением мудрости... Нет, все это отвергнуто и погашено. Человек есть - с одной стороны - страдающий субъект и тем самым объект жалости и сострадания, с другой стороны - он есть жалеющий субъект и соответственно объект, ограждаемый от страдания. Вся жизнь человечества сводится к тому, что люди страдают и причиняют друг другу страдания, что люди то жалеют, то не жалеют друг друга. Хорошо, когда люди жалеют друг друга, не мучают и «соединяются»; плохо, когда люди друг друга не жалеют, мучают и разъединяются. Высшая цель человечества - жалеть и не мучить; высшее совершенство, доступное человеку, сводится ко всеобъемлющей жалости (всех жалеть, всей душой); праведная деятельность состоит в ограждении всех от страданий, хотя бы ценою своих страданий и своей жизни. Дальше этого сентиментальный моралист не видит, не показывает, не учит, не зовет. Мало того, он отвергает и осмеивает все остальное.

Именно в этом обнаруживается с полной очевидностью ограниченность и упрощенность его жизнепонимания. Сентиментальность его - эта повышенная и обостренная, но беспредметная и безвольная чувствительность - чрезвычайно легко, быстро и остро отвечает на всякую человеческую неудовлетворенность, на всякое чужое страдание; она ранится им, содрогается, ужасается и начинает безвольно мечтать о его устранении, о его прекращении, о его конце. И к этому сводится вся жизненная «мудрость». Страдание есть зло, это первая, скрытая аксиома этой мудрости, из которой выводится все остальное. Если страдание есть зло, то и причинение страданий (насилие!) есть зло. Наоборот, отсутствие страданий есть добро, а сочувствие чужим страданиям есть добродетель. Этим определяется и судьба нашей основной проблемы: в борьбе с страданием допустимо ли причинять новые страдания, умножая и усложняя их общий объем и состав? Ответ ясен: нет смысла громоздить Пелеон на Оссу... «Сатану нельзя изгнать „сатаную“; „неправду“ нельзя очистить „неправдою“; „зло“ нельзя победить „злом“; „грязь“ нельзя смыть „грязью“». И ответ этот только последователен: если страдание действительно есть зло, то кто же согласится увеличивать его объем, стремясь к уменьшению этого объема? Или - кто согласится вступить на «путь диавола» для того, чтобы на него не вступать?..

Так вскрывается первооснова сентиментальной морали: она покоится на противодуховном гедонизме.

Вопреки всему этому в действительности человек с его природой, его влечениями, способностями и заданиями устроен так, что легче всего ему дается удовлетворение потребностей и наслаждение и труднее всего ему дается воля к духовному совершенству, усилия, возводящие к нему, и достижение его. Человека всегда тянет вниз, к наслаждениям, и особенно к чувственным наслаждениям, и редко влечет его вверх, к совершенному, его увидению и созданию. Путь вверх открывается человеку и дается ему, но дается только в страдании и только благодаря страданиям. Ибо сущность страдания состоит прежде всего в том, что для человека оказывается закрытым или недоступным путь вниз, к низшим наслаждениям. Эта закрытость низшего пути не означает еще духовного достижения, но есть первое и основное условие восхождения. Не всякое страдание, не всякого человека и не всегда - возводит и одухотворяет, ибо здесь необходима некая верная направленность страдающей души и некое внутреннее умение. Но всякое подлинно духовное движение и достижение вырастает из страдания, давнего или нового, кратко-глубокого или долго-длительного, забытого или незабвенного. К Богу восходит только та часть, только та сила души, которая не нашла себе наслаждения и успокоения в первобытном, земном отпавлении; только та, которая не изжила в слишком человеческих удовлетворениях, которая не радовалась им, а страдала, и стыдилась, и ужасалась от их приближения. Страдание есть цена духовности и предел для животности; это есть грань беспечному наслаждению, увлекающему и совлекающему человека; это есть источник воли и духа, начало очищения и видения, основа характера и умудрения. Поэтому жизненная мудрость состоит не в бегстве от страдания как от мнимого зла, а в приятии его как дара и залога, в использовании его и окрылении через него. Это приятие должно быть совершено не только для себя и за себя, но и для других. Оно не означает, что человек будет нарочно мучить себя и ближних; но оно означает, что человек преодолет в себе страх перед страданием, перестанет видеть в нем зло и не будет стремиться прекратить его во что бы то ни стало. Мало того: он найдет в себе решимость и силу причинить страдание и себе, и ближнему - в меру высшей, духовной необходимости, заботясь об одном, чтобы это страдание не повреждало силу духовной очевидности и духовной любви в человеке. Ибо дух больше души, а страдание есть цена духовности.

Именно перед этим трагическим законом человеческого существа сентиментальный моралист остановился, содрогнулся и не принял его. Он не принял такую цену одухотворения и

закрыв себе глаза на основную трагедию человека. Он испытал страдание как зло и отверг его. Согласно этому отвержению, он начал искать путь к внутреннему наслаждению и нашел его в упоении жалостью; он начал жалеть всякого страдающего и положил как высшее - непричинение страданий другим. И далее, он не только отверг страдающий путь, но и самую цель страдающего восхождения: дух. Сентиментальность его излилась в гедонизм и привела его к противодуховности. Вся духовная сокровищница, все духовное делание человечества было осуждено и отвергнуто ради того, чтобы люди не мучились и не «обижали» друг друга, - ради единственного, высшего достижения: всеобщего наслаждения всеобщей взаимною жалостью.

Этот сентиментальный гедонизм учит, что нет на свете ничего высшего, во имя чего людям стоило бы страдать самим и возлагать страдания на своих ближних. Вся задача в том, чтобы все внутренне претворили свое страдание в сострадание и тем проложили себе путь к высшему наслаждению. Выше этого идти некуда и незачем. «Насильственно» этого нельзя достигнуть, и потому «насилие», как бесцельно умножающее страдания людей, осуждается безусловно. Но это и означает, что духовный нигилизм есть порождение сентиментального гедонизма; учение о непротвлении злу насилием есть последовательный вывод из того и другого.

Все это может быть выражено так: мораль Л.Н. Толстого видит в идее добра элемент любви и не видит элемента духа. Поэтому она утверждает как высшую ценность бездуховную и противодуховную любовь, которая оказывается безвольной, сентиментальной жалостью и совлекает вслед за собою все высшие жизненные ценности на уровень элементарной, инстинктивной душевности. Соответственно с этим мораль Л.Н. Толстого видит в идее зла элемент ненависти и не видит элемента противодуховности. Поэтому она усматривает самый тяжкий грех во вражде или ее внешних проявлениях, осуждает духовно верное отъединение незлодеев от злодеев и не замечает, что она сама включает в свой «идеал» черту сущего зла - противодуховность. Вследствие этого все учение о добре и зле оказывается искаженным и несостоятельным. «Добро» предстает в образе мелком и плоском, гедонистически-самодовлеющем, духовно мертвенном и сентиментально-идиллическом. «Зло» предстает в образе сравнительно безвредном (внешнее насилие), легко преодолимом, лишенном своей существенной ядовитости и в то же время вызывающем у моралиста несоответственно преувеличенное, аффектированное негодование. Все размежевание добра и зла оказывается неверным: духовно-нигилистические, сентиментально-пошлые, безвольные и духовно-безответственные настроения и поступки относятся к добродетельным; напротив, деяния героически-волевые, пророчески-гневные, пресекающие зло и карающие злодея, причисляются к самым позорным и низменным проявлениям человека. И надо всем этим царит прямолинейность рассудка и наивность рассуждающего обывателя.

Естественно, что вместе с отвержением духа и решительным предпочтением бездуховной, жалеющей и наслаждающейся души все в жизни перемещается и обесценивается. То, во имя чего человеку стоит, жить на земле и страдать, отпадает, а то, что остается и стремится занять место отпавшего, оказывается не таковым, чтобы из-за него стоило страдать и умирать.

В самом деле, духовное начало в человеке есть источник и орудие божественного откровения; оно дает человеку нечто такое, из-за чего стоит жить, стоит воспитывать себя и других, нести страдания и поднимать бремена; здесь есть драгоценность, которою стоит жить и ради которой стоит умереть. Ею осмысливается и жизнь, и страдания, и смерть. Эта святыня не только больше личности, больше личной морали и личного наслаждения: она больше, чем любая совокупность людей, отвергнувшая ее и противопоставившая себя - ей. Ибо ею, этой святыней, определяется главное, реальное и священное в человеке, в людях, в человечестве. Именно в служении ей человек находит последнее и главное основание для понуждения и пресечения.

С отпадением этой святыни все сводится ко множеству индивидуальных людей, то предающихся взаимному «обижанию» и «насилию», то наслаждающихся взаимным состраданием. Все они суть равные моральные атомы, и нет среди них ни слуг, ни органов святыни, перед нею ответственных, ею уполномоченных, ее представляющих и за нее умирающих и карающих. Нет церкви, хранильницы откровения; нет родины, живой сокровищницы духа; нет мудрости и национального восхождения к ней; нет красоты, нет героизма, чести и их живой традиции; грубое и пошлое насилие усмотрено там, где на самом деле творится живая тайна политического единения... Людям не из-за чего понуждать и воспитывать друг друга. Человек чувствует только свою личную «обиду» и желание «отомстить»; и задача его сводится к тому, чтобы не мстить, а «простить» и «пожалеть»; и если ему удастся любить своих обидчиков и никого не обижать, то задача его жизни решена.

Сентиментальный моралист не видит, что он духовно опустошил человеческую душу и поверг ее в состояние ослепления и пошлости. Он не понимает, что человек значителен только в меру своей духовности и что в меру своей бездуховности и противодуховности человек слеп и пошл. Он не видит того, что духовно пустая душа, отвернувшаяся и насмеявшаяся, становится религиозно уродливым явлением, заслуживающим не умиленной жалости, а гнева и отрезвления. Он не понимает того, что чужая пошлость несколько не лучше моей собственной и несколько не заслуживает ни любви, ни поддержки, ни жертвы; что альтруизм совсем не состоит в обслуживании чужой пошлости только потому, что она «чужая»; что любовь к ближнему есть любовь к его духу и его духовности, а не просто жалость к его страдающей животности. Он проповедует любовь и не замечает того, что он низводит и совлекает это великое начало, отрывая его от духовности. Ибо «любовь» сентиментального и противодуховного гедониста идет не от духа и не к духу, она не ставит ни себя, ни любимого пред лицо Божие; это не есть встреча в божественном, в совместном испытании и увидении Его, во взаимном научении, ободрении, воспитании, окрылении и в объединении двух духовных горений. Нет, это есть взаимное расслабление во взаимной животной жалости: это безвольное потакание сентиментального человека, больше всего боящегося, как бы ему не причинить ближнему «неприятность»; это бесхарактерное, сладостное сочувствие, одинаково изливающееся и на кроткого, и на злодея и вредящее обоим. Такое противодуховное сострадание недостойно человека, его духа и его призвания, ибо любовь унижительна и для любимого, и для любящего, если она не есть при всей своей радостной нежности духовная воля к духовному совершенству любимого.

Таково значение и таковы последствия сентиментального нигилизма, выдвинутого Л.Н. Толстым и его последователями в качестве единоспасительного, морального откровения.

**И.А. Ильин**



## Я ХОТЕЛ БЫ...

Я хотел бы, чтоб буря прошла,  
Чтоб мятежная смолкла стихия,  
Чтоб очнулась от смуты и зла  
Возрождённая в муках Россия!  
Я хотел бы, чтоб братская кровь  
На родимых полях не дымилась,  
Чтоб Христова святая любовь  
На великой Руси воцарилась!  
Я хотел бы, чтоб вновь ты пришла,  
Как ко мне приходила когда-то,  
И, прижавши к груди, обняла,  
Как сестра ненаглядного брата!

**С. Бехтеев**

Я думала, Россия - это книжки,  
Всё то, что мы учили наизусть...  
А также борщ, блины, пирог, коврижки  
И тихих песен ласковая грусть.

И купола. И тёмные иконы.  
И светлой Пасхи колокольный звон.  
И эти потускневшие погоны,  
Что мой отец припрятал у икон.

Всё дальше в быль, в туман со стариками.  
Под стук часов и траурных колёс.  
Россия - вздох. Россия - в горле камень.  
Россия - горечь безутешных слёз.

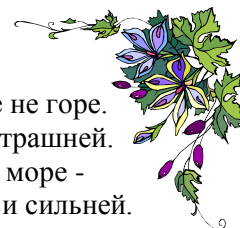
Харбин.

**Ларисса Андерсен.**

## Не скорбите



Не подвластны го'ды и века  
Человека истощённой воле.  
Не скорбите солнце, облака,  
Лес, река и клеверное поле.  
Не скорбите! Мы уйдем! Другие  
Будут душевней и добрей,  
Хоть года им выпадут лихие  
И намного горше и трудней.



Горе, что прошло, уже не горе.  
Беды впереди всегда страшней.  
Тихо и светло сегодня море -  
Будет шторм ужасней и сильней.  
Но и он, извергнув свою ярость,  
Успокоит волны и ветра...  
Жизни благодарен я за малость,  
Что уйти не выпала пора.

## ГДЕ-ТО В ПОЛЕ ВОЗЛЕ МАГАДАНА

Где-то в поле возле Магадана,  
Посреди опасностей и бед,  
В испареньях мёрзлого тумана  
Шли они за розвальнями вслед.  
От солдат, от их лужёных глоток,  
От бандитов шайки воровской  
Здесь спасали только околодок  
Да наряды в город за мукой.  
Вот они и шли в своих бушлатах –  
Два несчастных русских старика,  
Вспоминая о родимых хатах  
И томясь о них издалека.  
Вся душа у них перегорела  
Вдалеке от близких и родных,  
И усталость, сгорбившая тело,  
В эту ночь снедала души их,  
Жизнь над ними в образах природы  
Чередой двигалась своей.  
Только звёзды, символы свободы,  
Не смотрели больше на людей.  
Дивная мистерия вселенной  
Шла в театре северных светил,  
Но огонь её проникновенный  
До людей уже не доходил.  
Вкруг людей посвистывала вьюга,  
Заметая мёрзлые пеньки.  
И на них, не глядя друг на друга,  
Замерзая, сели старики.  
Стали кони, кончилась работа,  
Смертные доделались дела...  
Обняла их сладкая дремота,  
В дальний край, рыдая, повела.  
Не нагонит больше их охрана,  
Не настигнет лагерный конвой,  
Лишь одни созвездья Магадана  
Засверкают, став над головой.

1956

Н.А. Заболоцкий.

## Под сиренью...

Пятнадцать лет не получала писем  
И потеряла к прошлому пути,  
А ведьма-жизнь заржавленной спицей  
Спускала петли... Не найти...

И вдруг восторг нежданного подарка...  
В саду цвела лиловая сирень,  
Открытку принесли с французской маркой  
В сияющий весенний день.

Какой-то портик и листок аканта,  
Венчающий красивый взлет колонн...  
Париж - Харбин... Две доли эмигранта,  
Часовни наших похорон.



## Мишутка



С Донбасса идут похоронки  
по многим славянским концам.  
В Донбассе, в снарядной воронке,  
играет Мишутка - пацан.

Игрушек иных нет у Миши,  
сожгла их, разбила война.  
Стоит его хата без крыши  
и пахнет тротилом она.

Снарядных воронок соседство  
смердит, как исчадие зла.  
У Миши отобрано детство  
страной, что его родила.

Что зычно лукавит о мире  
с высоких, заморских, трибун  
и гонит, по выжженной шире,  
на мальчика танков табун.

Действительность выглядит жутко,  
в ней мальчик и танки в борьбе.  
В ней, детской лопаткой, Мишутка  
укрытие роет себе...

Владимир Белькович

Сайт «Свете Тухий»



Страшнее нету одиночества,  
Чем одиночество в толпе,  
Когда безумно всем хочется,  
А плакать хочется тебе...

Михаил Лермонтов



Вновь прошлое протягивает руки,  
Встают черты печально стертых лиц,  
Пятнадцать лет, пятнадцать лет разлуки,  
Пятнадцать вырванных страниц.

Те юноши - в мундирах, в ярких формах, -  
Бродяги, нищие, шофферы, кучера,  
Те девушки с надрывом семьи кормят,  
Склонившись над иглой с утра.

Те дети - выросли без света и причала,  
Красавцы обратились в стариков...  
И на открытку солнце осыпало  
Кресты сиреневых цветков.

А. ПАРКАУ. Шанхай.

# «РУССКОЕ СОЛНЦЕ, ИЛИ НОВЫЕ ТАЙНЫ РУССКОГО СЛОВА»

ГЛАВЫ ИЗ КНИГИ



## «Шишков, прости...»

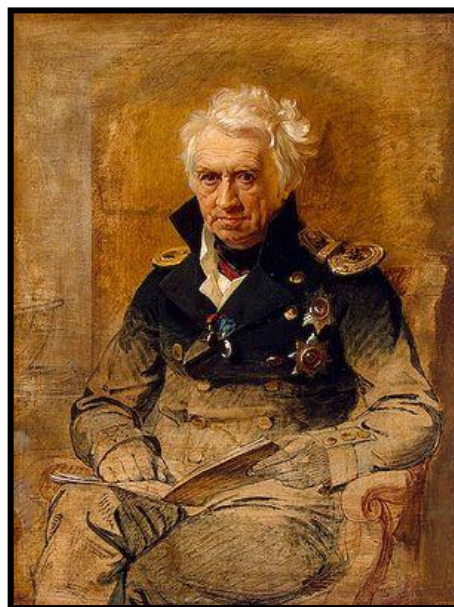
Мы уже упоминали замечательное объяснение слова человек в «Славянорусском корнеслове» Александра Семеновича Шишкова (1754-1841 гг.). Но нельзя не сказать хотя бы нескольких слов об этом великом русском человеке, которого называют еще - и совершенно заслуженно - патриархом русской словесности. Адмирал и госсекретарь, один из славных защитников Отечества, верой и правдой служивший четырем царям, министр просвещения и президент Российской Академии наук, он посвятил свою книгу Государю Николаю I. Цель труда всей своей жизни он выразил в следующих словах: «Попытаемся, откроем многое доселе неизвестное, совершим главное дело и оставим будущим временам и народам обдуманное, обработанное и требующее для дальнейшего исправления уже мало попечений».

Человек необычайной популярности, яростный борник чистоты родного языка, Александр Семенович ратовал за удаление из него вошедших в моду многочисленных иноязычных заимствований, в том числе и связанных с тогдашним засильем французского. Протест его был направлен также и против засилья французских гувернеров, заполонивших Россию, - воспитателей будущей элиты русского общества.

Однако А.С. Шишков находил поддержку и понимание не у многих своих современников, большинство считали иначе, нежели он: «Дитя играючи научится сперва говорить, потом читать, потом писать, и как французский язык необходимо нужен (заметьте это выражение), напоследок будет писать так складно, как бы родился в Париже... В этой-то самой мысли и заключается владычество его над нами и наше рабство. Для чего истинное просвещение и разум велят обучаться иностранным языкам? Для того, чтоб приобрести познания. Но тогда все языки нужны. На греческом писали Платоны, Гомеры, Демосфены; на латинском Вергилии, Цицероны, Горации; на итальянском Данты, Петрарки; на английском Мильтоны, Шекспир. Для чего ж без этих языков мы можем быть, а французский нам необходимо нужен? Ясно, что мы не о пользе языков думаем; иначе за что нам все другие так унижать пред французским, что мы их едва разумеем, а по-французски, ежели не так на нем говорим, как природные французы, стыдимся на свет показаться? Стало быть, мы не по разуму и не для пользы обучаемся ему; что ж это иное, как не рабство?» И далее: «Я сожалею о Европе, но еще более о России. Для того-то, может быть, Европа и пьет горькую чашу, что прежде, нежели оружием французским, побеждена уже была языком их».

Как же уродливо, только вслушайтесь, звучали в устах русских аристократов и дворян все эти маман` и папа`, Натали` и Николя` с непременно ударением на последнем слоге; и это в то время, когда французское войско уже всю катилось страшной своей лавиной по святой русской земле, убивая и сжигая всех и вся на своем пути, оскверняя Православные храмы, превращая их то в стойла для своих лошадей, то в отхожие места, а то и творя на их святых престолах черные мессы...

Вот и в замечательной книге Н. Левитского «Житие, подвиги, чудеса и прославление Преподобного Серафима, Саровского чудотворца», к слову, современника А.С. Шишкова, читаем: «Доброе воспитание детей в вере и благочестии, по наставлению Преподобного отца Серафима, должно составлять священную обязанность родителей. «Матушка, матушка, - говорил святой старец одной матери, заботившейся о светском воспитании своих сыновей, - не торопись детей-то учить по-французски и по-немецки, а приготовь душу-то их прежде, а прочее приложится им потом».



Если вспомнить, сколько усмешек и даже откровенных издевок услышал Александр Семенович в свой адрес лишь за то, что без устали пытался доказать соотечественникам непреложную истину - русский язык достаточно богат и замечательно пригоден для того, чтобы называть на нем многие и многие явления нашей жизни. Но даже и ныне приходится слышать едкую, подчас откровенно издевательскую, уничижительную критику Шишкова за призывы к современникам называть, скажем, тот же бильярд шарокатом, как это глумливо прозвучало в ходе прошлогодних Румянцевских чтений в стенах Государственного дома-музея А.С. Пушкина. Пришлось тогда заступиться за него, а заодно и напомнить некоторым уважаемым профессорам, что не было бы ничего страшного, если бы так оно и осталось. Произносим же мы самокат и пулемёт, не заходясь при этом от хохота. А также по-прежнему называем наперекор многим иным народам летательные аппараты самолетами, а не аэропланами, вертолётами, а не геликоптерами. Разве не так?! Впрочем, о самокате совершенно особая история чуть позже. Но прежде несколько слов о небольшом, но занятном эксперименте, который прошел недавно в московском детском доме «Павлин», где автор время от времени проводит с мальчиками беседы о русском языке. Так вот на занятии, посвященном А.С. Шишкову, я предложил им попытаться назвать бильярд по-русски, как если бы предстояло заново, впервые придумать название для этой иноземной игры. Немного подумав, двое из ребят предложили довольно любопытный вариант: шаромёт, а вот Добрыня, именно так зовут этого смышленного пятнадцатилетнего подростка, предложил: «шарокат» (!), не ведая о шишковском варианте. Совсем не «чудил» великий защитник языка русского, как нам до сих пор пытаются это внушить некоторые, с позволения сказать, ученые. Он был, если так можно выразиться, прав на глубинном национальном уровне, который сработал в обыкновенном мальчишке из детского дома через два столетия. Что же касается этих ученых, то автор вовсе не хотел бы ставить под сомнение их научный статус; ученые-то они ученые, да только вот беда - ученые не по-русски.

Выступая на тех Чтениях, я призвал присутствующих не смеяться над Шишковым, а плакать о сегодняшнем дне языка нашего, когда порой родители детей своих не понимают. Не миновала эта чаша и меня, когда несколько лет назад моя младшая дочь попросила купить ей - и тут внимание - скутер. Я несколько растерялся, ибо впервые не понял своего ребенка. Когда же с ее стороны последовало объяснение, и я воскликнул: «Так это же самокат!», наступил ее черед выразить свое недоумение: «Что?!» Ибо этим заморским словом, дорогой читатель, российская ребятня именуется ныне наш старый добрый самокат. Но почему?! Впрочем, это, как оказалось, вовсе не волнует дам от науки. Им куда важнее глумиться над памятью великого сына русского народа, которого они называют не иначе, как реакционером и мракобесом. А вот многоуважаемый Владимир Иванович Даль вполне резонно полагал, что «от исключения из словаря чужих слов их в обиходе, конечно, не убудет; а помещение их, с удачным переводом, могло бы иногда пробудить чувство, вкус и любовь к чистоте языка». Прошу уважаемого читателя обратить особое внимание на это иногда и сравнить его с тем, что все мы принуждены ныне видеть и слышать.

Да, именно к А.С. Шишкову обращается на страницах «Евгения Онегина» его автор, в который раз используя в тексте романа иностранные слова в оригинале:

*Di comme il faut... (Шишков, прости:  
Не знаю, как перевести.)*

Однако вернемся к теме нашего разговора - о сокровенном значении слов в русском языке. В своей книге прославленный адмирал пишет: «Исследование языков возведет нас к одному первобытному языку и откроет: как ни велика их разность, она не от того, чтоб каждый народ давал всякой вещи свое особое название. Одни и те же слова, первые, коренные, переходя из уст в уста, от поколения к поколению, изменялись, так что теперь сделались сами на себя не похожими, пуская от сих изменений своих тоже сильно измененные ветви. Слова показывают нам, что каждое имеет свой корень и мысль, по которой оно так названо».

### **Благословите, батюшка!**

Высочайшая миссия человеческой речи, самая высокая честь, оказанная нам, людям, есть Богообщение, а человеческого слова - молитва. И именно поэтому все мы, Православные христиане, именуемся еще и словесным стадом. Метко замечено кем-то, что если отнять у нас слово, то мы превратимся в мычащую биомассу. Вообще, слово как таковое есть та таинственная основа, по которой ткется причудливый ковер нашей жизни: неповторимый у каждого как по размеру, так и по количеству и плотности узелков, богатству и красочности узора, но

единый именно в этой своей словесной незыблемости. Призванные к жизни Самим Словом, пусть и нередко не подозревая об этом, все мы обретаемся в сакральной стихии Божественного Логоса: от первого крика новорожденного, покинувшего благословенное материнское лоно, до последнего вздоха, последнего слова старца, с мужеством и смирением переступающего порог Вечности.

Вот и мы, едва войдя в храм и завидев батюшку, а то и на улице, привычно тянемся к нему за благословением, за благими, а значит, святыми, словами. И если священник не торопится и мы не суетливы, то ничего не стоит нам расслышать их; осеняя нас крестным знаменем, он всенепременно произносит: «Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа». А иной отец еще нет-нет и добавит: «Не я благословляю, Бог благословляет». Молитв много, но именно с этих благих слов начинается каждая служба, молебны, всякое доброе дело, утреннее и вечернее правило. Этими словами напутствуем мы своих малышей пред тем, как отправиться им ко сну, а когда подрастут и войдут в пору зрелости, - благословляем на брак, осеняя особо чтимым образом из домашнего иконостаса.

### «С человеческим словом безнаказанно шутить нельзя...»

Вся великая русская словесность пронизана благоговейным отношением к феномену человеческой речи, живого слова, этому чуду из чудес. Как же проникновенно поведал об этом в стихотворении «Слово», написанном в праздник Рождества Христова, Иван Алексеевич Бунин, сорокапятилетний, еще на Родине, в родной дореволюционной Москве, но уже в предчувствии величайшей русской трагедии, «дней злобы и страданья», до которых осталось всего-то два года:

*Молчат гробницы, мумии и кости, -  
Лишь слову жизнь дана:  
Из древней тьмы, на мировом погосте,  
Звучат лишь Письмена.  
И нет у нас иного достоянья!  
Умейте же беречь  
Хоть в меру сил, в дни злобы и страданья,  
Наш дар бессмертный - речь.*

Спустя тридцать лет, в год окончания невиданного по сию пору национального испытания - Великой Отечественной войны - ему вторит Анна Андреевна Ахматова:

*Ржавеет золото, и истлевает сталь,  
Крошится мрамор. К смерти все готово.  
Всего прочнее на земле - печаль  
И долговечней - царственное слово.*

Но еще задолго до них мудрейший Владимир Иванович Даль в своем знаменитом «Напутном слове, читанном в Обществе любителей русской словесности в Москве, 21 апреля 1862 года» выскажет мысль, и ныне звучащую для всех, кто любит и ценит русскую речь, грозным набатом: «Но с языком, с человеческим словом, с речью безнаказанно шутить нельзя; словесная речь человека - это видимая, осязаемая связь, союзное звено между телом и духом: без слов нет сознательной мысли, а есть разве одно только чувство и мычанье».

### «Мы снова говорим на разных языках»

Больно слышать, когда Православную веру нашу пытаются (и попытки эти в последнее время становятся все более настойчивыми) представить всего лишь одной из религий. Можно ли с этим согласиться? Ни в коем случае. Ведь Господь Бог наш, Иисус Христос, в Которого мы веруем, личностен. Именно в этом заключается коренное отличие нашей веры от иных религий. Господь был явлен нам, воплотившись, жил среди нас, учил и исцелял нас, радовался и горевал вместе с нами, принял за нас Крестные страдания. И разве не этим сокровенным делится с нами Апостол Иоанн: «О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши, о Слове жизни, - ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам, - о том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами: а наше общение - с Отцем и Сыном Его, Иисусом Христом» (1 Ин. 1, 1-3). И далее: «Сей ученик и свидетельствует о сем, и написал сие; и знаем, что истинно свидетельство его» (Ин. 21, 24).

Вспомним, любимый ученик Спасителя даже слышал биение сердца своего Божественного Учителя, прикинув к нему во время Тайной Вечери. И если пафосом иных верований является мысль о ничтожестве человека пред лицом Всевышнего, то Священное Писание говорит нам о совершенно ином - что мы созданы по образу и подобию Божию. «Не бойся, малое стадо! ибо Отец ваш благоволил дать вам Царство» (Лк. 12, 32) - вдумаясь, в этих поразительных словах Сам Господь называет Отца Своего и нашим Отцом! Пречистыми устами Господа Иисуса Христа Священное Писание взывает к нашему с вами Небесному достоинству. «Итак будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный», - читаем в Евангелии от Матфея (Мф. 5, 48). «Посему ты уже не раб, но сын», - вторит Апостол Павел (Гал. 4, 7). Но если Отец наш есть Слово, то рожденные от Него, конечно же, словески, чловеки, чловеки. И это уже родство не только по плоти от ветхозаветного праотца Адама, о котором мы упомянули ранее. Все неизмеримо выше, божественнее, сокровеннее.

И если в российской науке о языке слово все еще традиционно рассматривается не только с филологической, но и с философско-нравственной, мистической, если хотите, позиций, то западный взгляд прямо противоположен. Он заключается в сугубо информационном, рационалистическом подходе к слову как таковому. Дошло уже до того, что некоторые западные лингвисты отказываются от самого понятия слова, воспринимая его лишь как техническое средство, своего рода сигнал или импульс. Письмо, полное боли за язык наш, так перекликающееся с тем, о чем мы сейчас рассуждаем, пришло от доктора филологических наук, заведующей кафедрой русского языка филологического факультета Воронежского государственного университета Людмилы Михайловны Кольцовой: «Много лет по долгу своей профессии и велению сердца, - пишет она, - я занимаюсь делом сбережения, изучения, а теперь - и защиты нашего родного языка от нечисти. Хотя сила Слова такова, что Оно нас защищает и спасает. Ваша книга - поддержка в борьбе с разрушительными силами, в ней есть и истинные для меня открытия: например, я поняла, что смущало меня в песне «Под небом голубым...». Замена «всего» (!) одного предлога (в подлиннике так: «НАД небом голубым...» - ред.) совершенно изменила образ Пространства и мироустройства. Нет ничего случайного в языке, ничего мелкого и незначимого. Именно поэтому в современной лингвистической науке так настойчиво и целенаправленно идет подмена понятий: вместо слова исследуются так называемые «концепты», духовность заменена «ментальностью», и утверждение о том, что человек мыслит «при помощи универсального предметного кода», уже мало кто осмеливается опровергать, несмотря на естественнонаучное подтверждение тому, что «В начале было Слово...» (Ин. 1, 1)».

Когда-то Господь сурово покарал людей за непомерную гордыню, разделив их именно так - смешав языки. Но и поныне, устав от тщеты доказать кому-либо свою правоту, мы говорим с печальной обреченностью упрямому собеседнику: «Мы с Вами говорим на разных языках!».

«Благовест», Самара. 6 апреля 2009 г.

**В.Д. Ирзабеков.**



## Нас сломить никому не в силах

Православных снова бомбят.  
Нам осталось под звук канонады  
Петь акафист, не ждать награды,  
В Православии нет наград.

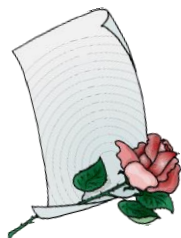
Ополчился весь мир на русских,  
Кто за правду, тот сам виноват,  
И не стоит стучать в набат.  
Путь небесный - всегда он узкий.

Понесём епитимью от Бога  
За разгул, за аборты и мат,  
Отхождение от Бога, разврат.  
Претерпеть нам придётся много.

Только знаем, что Русь жива  
И в веках торжествует вечно,  
Ей хвала до земли бесконечно,  
О героях не смолкнет молва.

Много видела мать-Россия,  
Ей поклон за отвагу, честь,  
И достоинств её не счесть,  
И сломить никому не в силах.

Православных снова бомбят,  
Снова лгут, обвиняют, лукавят,  
Православные ж Бога славят  
И не ждут от безумных наград.



# Семья разговляется



- Поедемте к нам, - упрасивали знакомые, когда стали  
Расходиться из церкви. - Поедемте, вместе разговеемся.

Но Хохловы благодарили и с достоинством отказывались.

- Нет уж, мы всегда дома! Уж это такой праздник - сами понимаете... Вся семья должна  
быть в сборе. Мы всегда дома разговляемся, все вместе, сами понимаете... И детки ждать будут,  
как же можно?..

Радостно, торжественно. Колокола гудят, на улицах толпа народа.

Радостно, торжественно. Хохлов говорит жене:

- Швейцару пять, старшему дворнику пять...

- Посмотри, какой красивый вензель на подъезде, - перебивает жена. - Надо шесть. При-  
бавь рубль, а то сразу начнет с квартирными приставать.

- Все равно, рублем не замажешь... Для фрейлейн что купила?

- Браслетку, - вздохнула жена. - За шесть рублей, дутая, но очень миленькая. И потом, я на  
коробочку попросила другую цену наклеить. Приказчик очень симпатичный, написал - двенад-  
цать с полтиной. По-моему, это даже еще естественнее, чем, например, просто тринадцать или  
двенадцать. Не правда ли? Но до чего я устала со всеми этими дрызгами! Обо всех нужно поду-  
мать, а ведь я одна. Поручить некому, а у всех претензии. Глаша (вообрази себе нахальство!)  
подходит ко мне на днях и заявляет: «Будете для меня подарок покупать - купите коричневого  
бордо на платье». Каково! И ведь прекрасно знает, что я сама коричневое ношу!

- Распушенность! Сама виновата. Не надо распускать.

Приехали. Швейцар торжественно распахнул двери.

- Христос Воскресе! С праздником, ваша милость!

Эту радостную весть первых христиан он произнес так спокойно и почтительно, словно  
докладывал: «Тут без вас господин приходили».

А Хохлов молча вытянул из-под отворота шубы бумажник, нахмурившись, вынул пять  
рублей и отдал их швейцару.

- Началось! - вздохнула жена. Поднялись по лестнице.

На звонок отворила горничная и неестественно оживленно поздравила.

- Подарок после отдам, - сказала барыня и подумала: «И чего эта дура радуется? Вообра-  
жает, кажется, что я ей коричневого купила».

В столовой ждали две девочки.

- Мама! - сказала одна. - Катя от большого кулича изюмину выколупала. Теперь там дырка.

- А Женя пасху руками трогала...

- Очень мило! Очень мило! - запела мать. - Вот как вы встречаете родителей. Вместо того  
чтобы похристосоваться и поздравить с праздником, вы вот как... А где ваша фрейлейн? Куда  
она девалась?

- Фрейлейн в гостиной, в зеркало смотрится, - отвечали девочки дуэтом.

- Час от часу не легче! Жалованье платишь, подарки покупаешь, а уйдешь из дому лоб  
перекрестить - и детей оставить не на кого. Фрейлейн Эмма! Где же вы?

Вошла фрейлейн с напряженно-праздничным лицом. В волосах кокетливо извивалась ста-  
рая, застиранная лента. Фрейлейн сделала полупоклон, полуреверанс, то есть склонив голову,  
слегка лягнула ногой под юбкой, и сказала:

- Ich gratuliere...

- Это очень хорошо, моя милая, - перебила ее хозяйка, - но вы также не должны забывать  
свои обязанности. Дети шалют, портят куличи...

У немки сразу покраснел носик.

- Я гавариль Катенько, а Катенько отвешаль, что кулиш не святой. Я не знаю русски  
обышай, што я могу?

- Ну, перестаньте! Об этом потом поговорим.

А где Петя?

- Петя пошел к заутрени во все церкви сразу, - отвечал дуэт. - Я говорила, что мама рассер-  
дится, а он говорит, что он не просил вас, чтобы вы его рождали, и что вы не имеете права  
вмешиваться.

- Ах, дрянь эдакая! Ох, бессовестный! - закудахтала мать.

- В чем дело? - спросил, входя, Хохлов. - Вот вам подарок, Фрейлейн: вам браслетка. А вам, дети - крокет.

Дети надулись.

- Какой же подарок! Крокет вовсе не подарок. Крокет еще в прошлом году обещали без всякого праздника.

- Цыц! Вон пошли! Сидите смирно или убирайтесь вон из комнаты! Не дадут отцу-матери разговеться спокойно. Где Петька?

- Во все церкви пошел... не имеете права вмешиваться... он не просил, - отвечал дуэт.

- Что такое? Ничего не понимаю. Вот я ему уши надеру, как вернется. Будет помнить! Не давать ему ни кулича, ни пасхи! Эдакая дрянь!

Хохлов сел за стол.

- Это что? Поросенок? Чего ты там в него натыкала? И к чему было фаршировать, когда я ничего фаршированного в рот не беру! Только добро портят. Муж горбом выколачивает гроши, а вы хоть бы подумали, легко ли это ему дается. Вы только сидите да фаршируете! Эдак, матушка, ты хоть миллион профаршируешь, раз в тебе нет никакой самокритики. Так тоже нельзя! Ну, к чему здесь, спрашивается, огурец лежит? Ну, кого ты думала огурцом удивить?

- Да я думала, что, может быть, Август Иванович разговеться заедет.

- Август Иваныч! Очень ты его огурцом удивишь! Одна фанаберия. Передай сюда яйца.

Хохлов треснул яйцом об край тарелки. Жидкий желток брызнул ему на жилетку и пошел по пальцам.

- Это что? А? Всмятку! Позвать сюда Мавру! Позвать сюда мерзавку, которая на Пасху яйца всмятку варит. А? Каково? Двенадцать рублей жалованья, яиц сварить не умеет!

Вошла кухарка, встала у дверей.

- Это что? А? Это крутое яйцо? А?

- Виновата-с! К нему в нутро тоже не влезешь. Кто его знает, отчего оно не сварилось... Я ведь тоже не Свят Дух!..

- Скажи лучше, что ты мне с жилеткой сделала! У меня жилет тридцать рублей стоит; я его десять лет ношу, а ты мне его в один миг уничтожила! С меня подарков требуешь, а сама меня по миру норовишь пустить! Вон! Чтоб духу твоего... Кто там звонит? Ага, Петя! Тебя-то мне и нужно! Ты как смел без спросу в церковь уйти? А? Отвечай!

- Да что ж, когда вы не пускаете! Я ведь тоже человек. У меня религиозная потребность...

- Ах ты, поросенок! Скажите пожалуйста, какие он отцу слова говорит! Отец на них работает, отец их воспитывает, одевает, обувает, ночей не спит да думает, как бы им хорошо было...

- А где подарки?

- Слушаться не хотят, а о подарках не забудут. Тебе мать коньки купила, только я их тебе не дам! Нет, братец! Ты воображаешь...

- Не надо мне ваших коньков! Кто ж к лету коньки дарит! Все только нарочно!

- Сам же всю осень ныл, что коньков нет!

- Так это осенью было! А теперь я же вам намекал, что мне удочка нужна. Если вы отец, так вы и должны относиться по-родительски.

- Ах ты, поросенок! Вон отсюда! Ничего не получишь! Не давать ему ничего! Ни кулича, ни пасхи! Ничего!

- А, так вот же вам!

Петя шлепнул ладонью по пасхе и удрал в свою комнату.

- Пойду, отдам прислуге подарки, - сказала Хохлова и встала из-за стола.

Муж остался один и долго молча жевал.

- Ну что, рады небось? - спросил он, когда жена вернулась.

- Разве их чем-нибудь обрадуешь? Даже не поблагодарили. Глаша говорит, что фрейлейн плачет.

- Чего она?

- Браслетка не нравится. Не к лицу.

- Вот дура!

- Такая миленькая браслетка. И два сердечка подвешены. Им все мало!

- Ну, вот и разговелись. Теперь можно и на боковую. Слышишь? Что это там за треск? А?

- Ничего. Это девчонки крокет ломают.

- Эдакие дряни! Вот я им ужо!!



Надежда Тэффи.



# Пересолил



Землемер Глеб Гаврилович Смирнов приехал на станцию "Гнилушки". До усадьбы, куда он был вызван для межевания, оставалось ещё проехать на лошадях вёрст тридцать-сорок. (Ежели возница не пьян и лошади не клячи, то и тридцати вёрст не будет, а коли возница с мухой, да кони наморены, то целых пятьдесят наберётся.)

- Скажите, пожалуйста, где я могу найти здесь почтовых лошадей? - обратился землемер к станционному жандарму.

- Которых? Почтовых? Тут за сто вёрст путевой собаки не сыщешь, а не то что почтовых... Да вам куда ехать?

- В Девкино, имение генерала Хохотова.

- Что ж? - зевнул жандарм. - Ступайте за станцию - там на дворе иногда бывают мужики, возят пассажиров.

Землемер вздохнул и поплёлся за станцию. Там, после долгих поисков, разговоров и колебаний, он нашёл здоровеннейшего мужика, угрюмого, рябого, одетого в рваную сермягу и лапти.

- Чёрт знает какая у тебя телега! - поморщился землемер, влезая в телегу. - Не разберёшь, где у неё зад, где перёд...

- Что ж тут разбирать-то? Где лошадиный хвост, там перёд, а где сидит ваша милость, там зад.

Лошадёнка была молодая, но тощая, с растопыренными ногами и покусанными ушами. Когда возница приподнялся и стегнул её верёвочным кнутом, она только замотала головой. Когда же он выбранился и стегнул её ещё раз, то телега взвизгнула и задрожала, как в лихорадке. После третьего удара телега покачнулась, после же четвёртого она тронулась с места.

- Этак мы всю дорогу поедём? - спросил землемер, чувствуя сильную тряску и удивляясь способности русских возниц соединять тихую, черепашую езду с душой выворачивающей тряской.

- До-о-едем! - успокоил возница. - Кобылка молодая, шустрая. Дай ей только разбежаться, так потом и не остановишь. Но-о-о, прокля...тая!

Когда телега выехала со станции, были сумерки. Направо от землемера тянулась тёмная, замёрзшая равнина, без конца и краю. Поедешь по ней, так наверно заедешь к чёрту на кулички. На горизонте, где она исчезала и сливалась с небом, лениво догорала холодная осенняя заря. Налево от дороги в темнеющем воздухе высились какие-то бугры, не то прошлогодние стоги, не то деревня. Что было впереди, землемер не видел, ибо с этой стороны всё поле зрения застилала широкая, неуклюжая спина возницы. Было тихо, но холодно, морозно.

«Какая, однако, здесь глушь! - думал землемер, стараясь прикрыть свои уши воротником от шинели. - Ни кола ни двора. Не ровен час - нападут и ограбят, так никто и не узнает, хоть из пушек пали. Да и возница ненадёжный... Ишь, какая спинница! Этакое дитя природы пальцем тронет, так душа вон! И морда у него зверская, подозрительная».

- Эй, милый, - спросил землемер, - как тебя зовут?

- Меня-то? Клим.

- Что, Клим, как у вас здесь? Не опасно? Не шалят?

- Ничего, Бог миловал. Кому ж шалить?

- Это хорошо, что не шалят. Но на всякий случай всё-таки я взял с собой три револьвера, - соврал землемер. - А с револьвером, знаешь, шутки плохи. С десятью разбойниками можно справиться...

Стемнело. Телега вдруг закрипела, завизжала, задрожала и, словно нехотя, повернула налево. «Куда же это он меня повёз? - подумал землемер. - Ехал всё прямо и вдруг налево... Чего доброго, завезёт, подлец, в какую-нибудь трущобу и... и... Бывают ведь случаи!»

- Послушай, - обратился он к вознице. - Так ты говоришь, что здесь не опасно? Это жаль. Я люблю с разбойниками драться. На вид-то я худой, болезненный, а силы у меня, словно у быка. Однажды напало на меня три разбойника. Так что ж ты думаешь? Одного я так трахнул, что... что, понимаешь, Богу душу отдал, а два другие из-за меня в Сибирь пошли, на каторгу. И откуда у меня сила берётся, не знаю. Возьмёшь одной рукой какого-нибудь здоровилу, вроде тебя, и... и сковырнёшь!

Клим оглянулся на землемера, заморгал всем лицом и стегнул по лошадёнке.

- Да, брат...- продолжал землемер. - Не дай Бог со мной связаться. Мало того, что разбойник без рук, без ног останется, но ещё и перед судом ответит. Мне все судьи и исправники знакомы. Человек я казённый, нужный. Я вот еду, а начальству известно... так и глядят, чтоб мне кто-нибудь худа не сделал. Везде по дороге за кустиками урядники да сотские понатыканы. По... по... стой! - заорал вдруг землемер. - Куда же это ты въехал? Куда ты меня везёшь?

- Да нешто не видите? Лес!

«Действительно, лес... - подумал землемер. - А я-то испугался! Однако, не нужно выдавать своего волнения. Он уже заметил, что я трушу. Отчего это он стал так часто на меня оглядываться? Наверное, замышляет что-нибудь... Раньше ехал еле-еле, нога за ногу, а теперь ишь как мчится!»

- Послушай, Клим, зачем ты так гонишь лошадь?

- Я её не гоню. Сама разбежалась. Уж как разбежится, так никаким средством её не оставишь. И сама она не рада, что у ней ноги такие.

- Врёшь, брат! Вижу, что врёшь! Только я тебе не советую так быстро ехать. Попрдержика лошадь... Слышишь? Попрдержи!

- Зачем?

- А затем... затем, что за мной со станции должны выехать четыре товарища. Надо, чтоб они нас догнали. Они обещали догнать меня в этом лесу. С ними веселей будет ехать. Народ здоровый, коренастый, у каждого по пистолету... Что это ты всё оглядываешься и движешься, как на иголках? А? Я, брат, тово... брат... На меня нечего оглядываться! Интересного во мне ничего нет. Разве вот револьверы только. Изволь, если хочешь, я их выну, покажу. Изволь...

Землемер сделал вид, что роется в карманах, и в это время случилось то, чего он не мог ожидать при всей своей трусости. Клим вдруг вывалился из телеги и на четвереньках побежал к чаще.

- Караул! - заголосил он.- Караул! Бери, окаянный, и лошадь и телегу, только не губи ты моей души! Караул!!!

Послышались скорые, удаляющиеся шаги, треск хвороста - и всё смолкло. Землемер, не ожидавший такого реприманда, первым делом остановил лошадь, потом уселся поудобней на телеге и стал думать. «Убежал... испугался, дурак... Ну, как теперь быть? Самому продолжать путь нельзя, потому что дороги не знаю, да и могут подумать, что я у него лошадь украл. Как быть?»

- Клим! Клим!

«Клим!..» - ответило эхо.

От мысли, что ему всю ночь придётся просидеть в тёмном лесу на холоде и слышать только волков, эхо да фыркание тощей кобылки, землемера стало коробить вдоль спины, словно холодным терпугом.

- Климуска! - закричал он. - Голубчик! Где ты, Климуска?

Часа два кричал землемер, и только после того, как он охрип и помирился с мыслью о ночёвке в лесу, слабый ветерок донёс до него чей-то стон.

- Клим! Это ты, голубчик? Поедем!

- У... убьёшь!

- Да я пошутил, голубчик! Накажи меня Господь, пошутил! Какие у меня револьверы! Это я от страха врал! Сделай милость, поедем! Мёрзну!

Клим, сообразив, вероятно, что настоящий разбойник давно бы уж исчез с лошадьёю и телегой, вышел из лесу и нерешительно подошёл к своему пассажиру.

- Ну, чего, дурак, испугался? Я... я пошутил, а ты испугался. Садись!

- Бог с тобой, барин, - проворчал Клим, влезая в телегу. - Если б знал, и за сто целковых не повёз бы. Чуть я не помер от страха...

Клим стегнул по лошадёнке. Телега задрожала. Клим стегнул ещё раз, и телега покачнулась. После четвёртого удара, когда телега тронулась с места, землемер закрыл уши воротником и задумался. Дорога и Клим ему уже не казались опасными.

**А.П. ЧЕХОВ.**



*...Иногда чувствуешь себя разбитым на осколки... Но если представить, что жизнь – это калейдоскоп, то именно из осколков получают самые удивительные картины.*

# Клякса



1 Над столом, покрытым синей бумагой в чернильных пятнах, горела привешенная к потолку небольшая лампа, освещающая ворох писем и две худые, проворные руки, левая выхватывала письмо из кучи, подносила к плоскому, с красной бородавкой носу в пенсне и перебрасывала правой, а правая совала в ящики шкафа близ стола.

Работа эта, ежедневная и однообразная, не обременяла мыслей почтового чиновника Крымзина; но мыслям некуда было деться, и они дремали, шибко бегали только бесцветные глаза. На углу стола шипел самоварчик.

Сонно было в почтовой конторе, и в двух залах небольшой станции, и вокруг на много верст, и ничто не могло потревожить работы Крымзина. Но вдруг левая рука его, схватив голубой конверт и едва не перебросив правой, задрожала и остановилась. Крымзин сдернул пенсне и, раздвинув локти, прочел адрес на конверте: «Именье Сосенки, Александру Петровичу Тименкову». Пятнами разлился румянец по впалым щекам Крымзина, тонкие губы, обросшие мочальными усиками, приподнялись улыбкой. Он встал, подошел к самовару и пробормотал:

- Соскучилась Лизанька. Вся, чай, изныла без милого друга... Ну, что ты там нацарапала, душенька моя...

Дрожащей, грязной от чернил рукой в заусеницах подержал Крымзин конверт над паром самовара, осторожно раскрыл и, понюхав хрустящий листок письма, стал читать под лампой: «Милый мой, золотой Саша, я больше не могу жить в разлуке. Вчера муж нашел твое письмо у меня на туалете. Я испугалась ужасно и за тебя и за себя. Он спросил: „От кого это?“ Я ответила: „От подруги“... И он подозрительно покосился, знаешь - как. Я боюсь его, Саша. Как он смеет меня подозревать? Разве я изменяю ему с тобой? Ведь я же люблю тебя, красавца милого. В субботу мы встретимся в вагоне. Я не дождусь субботы. Какое счастье, что в К. живет его тетка... Я ее терпеть не могу, а муж очень доволен, что я хочу навестить тетку... До субботы. Лиза».

Прочтя письмо, Крымзин усмехнулся, поглядел на лампу и подмигнул.

- Правильно, - сказал он, - старого учить надо: думает, за деньги жена тебя и любить будет! Многого захотел. Не раба. Саша молодчина, в вагоне устраивается... Изобретатели... Значит, в субботу ее и увижу, конечно увижу. Вот так штука!

Крымзин задумался, сказал: «так-с», заклеил конверт и, улыбаясь, продолжал работу, согнувшись на своем стуле - худой, сутулый и потертый.

Когда ворох писем был разобран, Крымзин потянулся, налил чаю в стакан и, куря и мешая ложечкой, продолжал думать о Лизе, причем глядел не отрываясь на чернильное пятно на стене.

Клякса эта, неправильная, с брызгами вокруг и отеком вниз, находилась поверх коричнево-го цветка на обоях, и Крымзин, думая, всегда глядел на кляксу и ненавидел ее до тошноты и головной боли. Кляксу поставил почтовый чиновник, который служил лет двадцать на этой станции и помер от запоя. На место покойника поступил Крымзин, исключенный за слишком медленное прохождение курса из реального училища. Родных у него не было, товарищи скоро забыли его, и он, сев на станции, посреди степа, где ближайшее село было в тридцати верстах, стал ежедневно видеть одно и то же: начальника станции, стрелочника, телеграфиста, кур в палисаднике, а вокруг степные дороги, путь и столбы.

Раз в сутки, минуты на две, останавливался почтовый поезд, полный народа; засидевшийся пассажир прыгивал с площадки и прохаживался мимо вагона, откуда в окна глядели незнакомые люди. Вначале Крымзин хотел подружиться с начальником и телеграфистом, но у телеграфиста пахло изо рта, да и какой прок из его дружбы, а у начальника постоянно хворали дети, я вообще он был угрюм. Надумал Крымзин пить, но от вина делалась такая грусть, что однажды вынули его из петли в дровяном сарае. Тогда попробовал он распечатывать письма, и это занятие понравилось.

Засиживаясь с каждой почтой за полночь, Крымзин читал чужие тайны и стал понимать, как живут люди, на какие пускаются хитрости и дела. И уже не обижался больше, глядя на подкативший поезд, а хитро ему подмигивал, думая: «От меня не скроетесь, господа, все про вас знаю». И скоро выучился отличать по надписи на конверте любовные письма от деловых, просительские от писем начальников.

На просительских звание и титул были прописаны всеми буквами, адрес подробен, не подчеркнут, и старательно завернуты закорючки на буквах. Начальники подчеркивали город и фамилию, перед которой стояло просто «Е. В. Б.». В деловых почерк был тороплив и разборчив. А любовные, - их все прочитывал Крымзин, наслаждаясь разнообразием и подробностями содержимого, - у одних почерк был трудно читаем, словно женщина трусила, боясь писать; другие царапали каракулями, ставили кляксы, вкладывали цветы, а иногда торопливое перо,

вонзаясь в бумагу, брызгало; местами вместо слов ставились точки, над которыми много смеялся Крымзин, сняв запотевшее пенсне.

Крымзин радовался удачам любовников, досадовал на препятствия, ответы ждал с нетерпением, а иные письма переписывал в тетрадь, где значилось: «Пикантная переписка некоторых особ». За несколько лет он до того привык думать и чувствовать чужими думами и чувствами, что не представлял, как можно было жить, как раньше, в одиночестве от жизни, как в свинцовом ящике.

Недавно он распечатал письмо в голубом конверте: «Саша, как солнце светит, так и я тебя люблю. Ты говоришь, что я красивая и нежная, у меня маленькие ручки и ножки, но все это твое, пойми»... и дальше в том же роде... все про любовь. Было подписано: «Лиза», и Крымзин долго думал - чем это письмо замечательно, словно случилось что-то серьезное. Потом письма в голубых конвертах полетели каждый день... В них описывались и мелочи жизни, и такие женские подробности, при чтении которых надувал Крымзин дряблые щеки и говорил: «Да-с», и стихи, и цветы, и нежные слова на целой странице - все, чем ворожит молодая женщина, и, наконец, Крымзин получил фотографию, которую долго рассматривал и хотел срисовать, но ничего не вышло. Потом увидел Лизу во сне; затосковал, на другой день напился было, но стало хуже, и, не зная, что теперь делать, достал у жандарма порошу, ножом на руке вырезал: «Лиза», под именем - сердце и стрелу - и все это затер порохом, чтобы почернело навсегда.

Ответы Александра Петровича Тименкова Крымзин перестал вскрывать, чтобы казалось, будто Лиза пишет ему - Крымзину, и однажды наедине он назвал себя: Саша, Александр Петрович, - даже колкий холодок восторга пробежал по спине.

В свободное от разборки писем время, то есть весь день, Крымзин мечтал о крушении поезда. Он, Крымзин, бросается под обломки горящего вагона и выносит с опасностью жизни Лизу на руках. Лиза говорит ему: «Спаситель, будьте моим другом», - и целует его... Мечтая, Крымзин вытирал платком лицо, чтобы не было оно, на всякий случай, мокрое, в чае полоскал усы, от которых пахло табачным перегаром; глаза же его глядели на обои, и вот поверх коричневой розы он опять видел все ту же кляксу, поставленную от пьяной тоски... И клякса напоминала, что жизни у него нет.

**2** Последнее письмо с назначенным Александру Петровичу свиданием было в четверг, и два дня до субботнего вечера Крымзин жил сам не свой, - наконец, наконец он увидит Лизу.

Не зная, куда деться, он забрел за пути в полынью, росшую по ровному полю, и глядел на запад, откуда, за телеграфными столбами, вечером покажется поезд. Из-под ног вылетел перепел; суслик свистел на кургане, стоя колышком, - выцветшее небо, солнце, полынь...

Взглянув на солнце, он думал о том, что теперь Лиза обедает и говорит мужу невинно: «А я хочу съездить к тетушке». Муж молчит, прикрывшись газетой, - грубое животное; лицо у Лизы испуганное и лукавое: «А вдруг откажет?» «Поезжай, - говорит муж, - мне какое дело». Долго ждать до поезда. Все сердце изныло... Она пошла в комнату и надевает белье с кружевами - все для него.

Крымзин жмурился и, помотав головой, шел в палисадник, сбивая сапогами с пылины горькую пыль.

У коричневой, обшитой тесом стены Крымзин сел; около ног его заходил голенастый петух, трясся гребешком; две курицы лежали в пыльных ямках; листья на чахлых тополях были давно сожжены. Во втором этаже, в квартире начальника, плакал ребенок. «Эх, - подумал Крымзин, - хоть бы речка была - искупаться, здесь и воды-то нет; как только здесь люди живут...»

Вопли начальника ребенка надоели, наконец, нестерпимо; Крымзин, морща лоб, побрел в первый класс, где был холодок. Но в зале те же, что и десять лет назад, висели сбоку изразцовой печи рекламы пароходов и гильз «Катыка», напротив них заклеванное мухами расписание поездов и давнишняя надпись на нем карандашом: «Маня, если бы ты знала!! Виктор Стрижев»... На круглом столике - графин с желтой водой, которую никто не пил. Вот и всё.

Крымзин заглянул в графин. Послушал, как мухи жужжат на окнах, и ушел в багажное.

В багажном, против выхода, на обитой железом стойке спал служащий; заскорузлая рука его лежала на животе; вокруг открытого рта, обросшего неопределенного цвета бородой, ползали мухи.

- Эй, ты, будет тебе спать-то, - сказал Крымзин. Но тот не проснулся. Он тоскливо постоял и вышел на мощный двор. Службы, покрытые дерном, были заперты, у коновязи хлопотали воробьи. За казненным забором, за пыльной дорогой была все та же степь, далеко в ней прыгала стреноженная лошадь.

- Мука ведь это, мука, мука, не могу так жить, - сказал Крымзин, - хоть бы поезд скорее прошел.

Степной закат долго тускнел, линия и заливаясь ночью; высыпали редкие звезды; на станции зажгли огни, семафор вдалеке опустил зеленое крыло, и однообразно звонил колокол на столбе, показывая, что откуда-то идет поезд. Крымзин сидел на лавочке у дверей, на перроне,

глядя налево, в степь. Легкий озноб тряс его тощее тело в короткой тужурке, и в голове стоял туман, - слишком долго он дождался.

В степи налево горела точка, должно быть костер, зажженный плугарями. Но точка становилась ясней, потом разошлась в три огня, и оттуда долетел дальний свист; это подходил поезд.

Крымзин вскочил со скамейки, управляя фуражку; сердце стучало. Вслед за свистом с противоположной стороны залился колокольчик, все ближе и ближе, словно едущий, тоже увидя поезд, стегал по коням, стоя в тарантасе. Когда же огни паровоза, ширясь и золотом заливая рельсы, настигли семафор - на двор станции влетела, гремя о камни, запыленная тройка. «Это он», - расширяя глаза, в волнении подумал Крымзин.

Пылающие фонари, погнав тень от начальника станции, подлетели, паровоз обдал гарью и паром, замелькали окна вагонов, все медленнее, - и против Крымзина остановился первый класс, ярко освещенный. Сейчас же на перрон через дворик пробежал высокий человек в крылатке и с пышными усами.

Крымзин, привстав на цыпочки, стал глядеть через вагонное окно в купе, обитое красным бархатом. В сетке купе лежала соломенная шляпа с цветами и ягодами, на крючке висело шелковое пальто. «Лизино это», - пробормотал Крымзин и с головы до ног задрожал и обернулся. С площадки вагона раздался звонкий, торопливый женский голос:

- Сюда, сюда. Александр Петрович!

Саша-Человек в крылатке с разбегу остановился, поднял руку, приветствуя, и вспрыгнул на площадку. Он заслонил ее всю, на шее его очутились две женские руки.

«Поцеловались, - сказал Крымзин, - в губы...» И увидел, как дверь в купе распахнулась и вошли, сначала она - радостно блестя глазами и смеясь, потом - он, очень бодро.

Зайдя в купе, Лиза опять обняла Александра Петровича. Они сейчас же стремительно сели на красную койку и опять - целовались, зажмурясь, отрывались, чтобы вздохнуть, и - опять...

Крымзин, глядя на них, тихо затосковал на голос, даже и не заметив этого; не слышал он, как ударил третий звонок, звякнули буфера. Вдруг окно поплыло, - Крымзин побежал за вагоном.

Лиза и друг ее с великолепными усами оторвались друг от друга. Он держал ее за руки. Оба смеялись, невыразимо счастливые.

Перрон вдруг окончился, Крымзин споткнулся, едва не упал, а поезд уже унесся, показывая на хвосте два красных огня. Все.

Долго Крымзин смотрел вслед поезду. Вернулся в контору, засунул руки в карманы и сложил губы розаном. Так постоял, покуда и этот отраженный свет любви не угас на лице его. Потом он вынул ключ, отомкнул на почтовом мешке замок, понатужась, вывалил письма на закапанный стол, присел, и привычно заходили его руки. Но глаза вместо всей этой дряни снова видели прозрачное окно и на красном бархате две целующиеся головы.

- Довольно же, - сказал он, тяжело дыша, - поцеловались, и довольно!

Но - мало этого - они взяли за руки и принялись смеяться. На румяной щеке у нее показалась ямочка, и наморщился маленький нос.

- Милые мои, еще поцелуйтесь, - сказал Крымзин, привстав и опираясь о стол... Но профили чудесных двух лиц не сблизились; между ними появился обойный розан, и сбоку его - чернильная клякса.

Крымзин раскрыл рот и, дрожа, глухо вскрикнул: «Пропади!» И головы исчезли. Тогда он схватил чернильницу - и швырнул ее, перегнувшись через стол, в кляксу. Чернильница разбилась, и чернила расплеснулись по стене пятном величиной с баранью шкуру.

- Заполонило! - закричал Крымзин. - Врешь! А не хочешь ли этого, этого? - Комкая и разрывая письма, он стал кидать их в чернильное пятно, плевал в него через стол, запустил печаткой и сургучом.

Начальник станции, зайдя за почтой и все это увидев, повалил Крымзина, позвал на помощь, велел его связать, а наутро отправил в уездный город, в больницу.

**А.Н. Толстой.**



*Самый лучший подарок,  
который дарит нам судьба –  
это люди, которым мы говорим  
«спасибо, что ты есть».  
Эрсин Тезджан.*

*Самая тяжелая болезнь на  
свете - это привычка думать.  
Она неизлечима.*

**Эрих Мария Ремарк**

# Заблудшие

Дачная местность, окутанная ночным мраком. На деревенской колокольне бьет час. Присяжные поверенные Козьявкин и Лаев, оба в отменном настроении и слегка пошатываясь, выходят из лесу и направляются к дачам.

- Ну, слава Создателю, пришли! - говорит Козьявкин, переводя дух. - В нашем положении пройти пехтурой пять верст от полустанка - подвиг. Страшно умаялся! И, как назло, ни одного извозчика...

- Голубчик, Петя... не могу! Если через пять минут я не буду в постели, то умру, кажется.

- В по-сте-ли? Ну, это шалишь, брат! Мы сначала поужинаем, выпьем красненького, а потом уж и в постель. Мы с Верочкой не дадим тебе спать. А хорошо, братец ты мой, быть женатым! Ты не понимаешь этого, черствая душа! Приду я сейчас к себе домой утомленный, замученный... меня встретит любящая жена, попоит чайком, даст поесть и, в благодарность за мой труд, за любовь, взглянет на меня своими черненькими глазенками так ласково и приветливо, что забуду я, братец ты мой, и усталость, и кражу со взломом, и судебную палату, и кассационный департамент... Хоррошо!

- Но... у меня, кажется, ноги отломались. Я едва иду. Пить страшно хочется.

- Ну, вот мы и дома.

Приятели подходят к одной из дач и останавливаются перед крайним окном.

- Дачка славная, - говорит Козьявкин. - Вот завтра увидишь, какие здесь виды! Темно в окнах. Стало быть, Верочка уже легла, не захотела дожидаться. Лежит и, должно быть, мучится, что меня до сих пор нет. (Пихает тростью окно, которое отворяется). Этакая ведь бесстрашная, ложится в постель и не запирает окон... (Снимает крылатку и бросает ее вместе с портфелем в окно.) Жарко! Давай-ка затынем серенаду, посмешим ее: (Поет) «Месяц плывет по ночным небесам / Ветерочек чуть-чуть дышит / ветерочек чуть-чуть колышет». Пой, Алеша!

- Верочка, спеть тебе серенаду Шуберта? (Поет.) «Пе-еснь моя-я-я... лети-ит с мольбо-о-о-ю...» (Голос обрывается судорожным кашлем.) Тьфу! Верочка, скажи-ка Аксинье, чтобы она отперла нам калитку! (Пауза.) Верочка! Не ленись же, встань, милая! (Становится на камень и глядит в окно.) Верунчик, мамочка моя, веревьончик... ангелочек, жена моя бесподобная, встань и скажи Аксинье, чтобы она отперла нам калитку! Ведь не спишь же! Мамочка, ей-богу, мы так утомлены и обессилены, что нам вовсе не до шуток. Ведь мы пешком от станции шли! Да ты слышишь или нет? А, черт возьми! (Делает попытку влезть в окно и срывается.) Может быть, гостю неприятны эти шуточки! Ты, я вижу, Вера, такая же институтка, как была, все бы тебе шалить...

- А может быть, Вера Степановна спит? - говорит Лаев.

- Не спит! Ей, вероятно, хочется, чтобы я поднял шум и взбудоражил всех соседей! Я уже начинаю сердиться, Вера! А, черт возьми! Подсади меня, Алеша, я влезу! Девчонка ты, школьница и больше ничего! Подсади!

Лаев с пыхтеньем подсаживает Козьявкина. Тот влезает в окно и исчезает во мраке комнаты.

- Верка! - слышит через минуту Лаев. - Где ты? Черррт... Тьфу, во что-то руку выпачкал! Тьфу!

Слышится шорох, хлопанье крыльев и отчаянный крик курицы.

- Вот те на! - слышит Лаев. - Вера, откуда у нас куры? Черт возьми, да тут их пропасть! Плетушка с индейкой... Клюется, п-подлая!

Из окна с шумом вылетают две курицы и, крича во все горло, мчатся по улице.

- Алеша, да мы не туда попали! - говорит Козьявкин плачущим голосом. - Тут куры какие-то... Я, должно быть, обознался. Да ну вас к черту, разлетались тут, анафемы!

- Так ты выходи поскорей! Понимаешь? Умираю от жажды!

- Сейчас. Найду вот крылатку и портфель...

- Ты спичку зажги!

- Спички в крылатке. Угораздило же меня сюда забраться! Все дачи одинаковые, сам черт не различит их в потемках. Ой, индейка в щеку клюнула! П-подлая...

- Выходи поскорее, а то подумают, что мы кур ворует!

- Сейчас. Крылатки никак не найду. Тряпья здесь валяется много, и не разберешь, где тут крылатка. Брось-ка мне спички!

- У меня нет спичек!

- Положение, нечего сказать! Как же быть-то? Без крылатки и портфеля никак нельзя. Надо отыскать их.

- Не понимаю, как это можно не узнать своей собственной дачи, - возмущается Лаев. - Пьяная рожа! Если б я знал, что будет такая история, ни за что бы не поехал с тобой. Теперь бы я был дома, спал безмятежно, а тут изволь вот мучиться. Страшно утомлен, пить хочется, голова кружится!

- Сейчас, сейчас... не умрешь.

Через голову Лаева с криком пролетает большой петух. Лаев глубоко вздыхает и, безнадежно махнув рукой, садится на камень. Душа у него горит от жажды, глаза слипаются, голову клонит вниз. Проходит минут пять, десять, наконец двадцать, а Козьявкин все еще возится с курами.

- Петр, скоро ли ты?

- Сейчас. Нашел было портфель, да опять потерял.

Лаев подпирает голову кулаками и закрывает глаза. Куриный крик становится все громче. Обитательницы пустой дачи вылетают из окна и, кажется ему, как совы кружатся во тьме над его головой. От их крика в ушах его стоит звон, душой овладевает ужас. «Сскотна! - думает он. - Пригласил в гости, обещал угостить вином да простоквашей, а вместо того заставил пройтись от станции пешком и этих кур слушать...» Возмущаясь, Лаев сует подбородок в воротник, кладет голову на свой портфель и мало-помалу успокаивается. Утомление берет свое, и он начинает засыпать.

- Нашел портфель! - слышит он торжествующий крик Козьявкина. - Найду сейчас крылатку, и-баста, идем!

Но вот сквозь сон слышит он собачий лай. Лаев сначала одна собака, потом другая, третья, и собачий лай, мешаясь с куриным кудахтаньем, дает какую-то дикую музыку. Кто-то подходит к Лаеву и спрашивает о чем-то. Засим слышит он, что через его голову лезут в окно, стучат, кричат. Женщина в красном фартуке стоит около него с фонарем в руке и о чем-то спрашивает.

- Вы не имеете права говорить это! - слышит он голос Козьявкина. - Я присяжный поверенный, кандидат прав Козьявкин. Вот вам моя визитная карточка!

- На что мне ваша карточка! - говорит кто-то хриплым басом. - Вы у меня всех кур поразгоняли, вы подавили яйца! Поглядите, что вы наделали! Не сегодня-завтра индюшата должны были вылупиться, а вы подавили... На что же, сударь, сдалась мне ваша карточка?

- Вы не смеете меня удерживать! Да-с! Я не позволю!

«Пить хочется!» - думает Лаев, стараясь открыть глаза и чувствуя, как через его голову кто-то лезет из окна.

- Я - Козьявкин! Тут моя дача, меня тут все знают!

- Никакого Козьявкина мы не знаем!

- Что ты мне рассказываешь? Позвать старосту! Он меня знает!

- Не горячитесь, сейчас урядник приедет. Всех дачников тутошних мы знаем, а вас отродясь не видели.

- Я уж пятый год в Гнилых Выселках на даче живу!

- Эва! Нешто это Выселки? Здесь Хилово, а Гнилые Выселки правее будут, за спичечной фабрикой. Версты за четыре отсюда.

- Черт меня возьми! Это, значит, я не той дорогой пошел!

Человеческие и птичьи крики мешаются с собачьим лаем, и из смеси звукового хаоса выделяется голос Козьявкина:

- Вы не смеете! Я заплачу! Вы узнаете, с кем имеете дело!

Наконец голоса мало-помалу стихают. Лаев чувствует, что его треплют за плечо.

А.П. ЧЕХОВ.



*Я раньше относился к людям хорошо. А теперь - взаимно.*



*Не плюй под стол. Там тоже гости.*

*Не позволяйте вашим ушам слышать то, что не видели ваши глаза.*

# В Г О С Т Я Х



Начало в № 60

(Окончание)

...Еще заря не занималась, как дьякон проснулся: кто-то звал его из темноты тонким голоском.

- Кто? Чего надо? - с просонках не понимал дьякон.

- Это я, о. дьякон.

- Кто?

- Фока.

Дьякон старался сообразить, где он находится и что это за Фока, как вдруг вспомнил и обрадовался:

- Вы что? На речку, что ли?

- Скорей, о. дьякон. Свет близко.

- Сейчас, сейчас...

Вскоре они шагали по темной и сонной улице. Потом переулком вышли в степь, ровную и смутную. Под крутым берегом перед ними тускло засеребрилась река. Фока, шурша камышами, сдвинул лодку в воду. Оставляя за собой темный, расходящийся след, они выплыли на простор плеса. Недвижная гладь его светлела, как потное зеркало, и от нее шел свежий холодок. Стук весла о борт далеко разносился, тревожа уток в камышах.

Берега темнели. И задумчиво простиралось над ними темное небо. От всего вокруг исходило впечатление сна. Спал камыш неподвижно, и сонно колыхался, когда задевала его лодка. Пролетела вверх, молчаливо и бесшумно, как сонная, ночная запоздавшая птица. Спал лес, мутно отражаясь в воде. И сама вода струилась, как сонная, и сонно вздыхала в камышах.

- Знаю я тут окуневое место, - шептал Фока: - уж такой окунь водится... в-вот!

- Окуньков люблю, - говорил дьякон, - окунек приятная рыбка. Клюет хорошо. Не то, что какая-нибудь там сигушка... только душу вымотает. Солидно он клюет. Люблю!

- А то есть тут в одном месте... - Фока весело мигал глазом: - карась.

- Нет, уж лучше, Фока Леонтьич, к окунькам чальте.

Подул предрассветный ветерок. От него мелкая рябь пошла по воде, река потемнела и вздулась. Но ветер стих, точно убежал куда-то на простор полей, как посол от далекого солнца, и снова зеркальной стала речная гладь.

У высокой стены камышей они привязали лодку и сидели так тихо, что вблизи шептались сонные утки и не улетали. Лишь когда дьякон, бросая крючек, ударил рукою в борт и гулкий звук побежал по воде, утки тревожно закричали, и видно было по движению и шелесту камышей, что они поспешно уплывали. От брошенного крючка всплыл круг, разросся, убежал к берегам.

- На жереха, - сказал дьякон, - благослови, Господи!

Звезды гасли. Разгоралась заря, как бледная улыбка. Всё вокруг проснулось, запело, защебетало, зашелестело крыльями, словно природа, стряхивая сон еще с темных век своих, открывала веселые глаза.

Дьякон поднял голову.

- Птицы-то, птицы-то...

С веселым лицом он оглядел речную гладь, зеленые берега и на той стороне звучащую, как хорал, лесную чашу.

- Всякая тварь поет славословие Господу. Творение рук Его воздаст Ему хвалу. И цветы источают фимиам Ему. И всякое древо лесное как бы поет: «Благодарю Тя!» - Дьякон даже повел плечами: - Хоро-о-шо...

Но тут поплавок лег и вдруг побежал ко дну. Дьякон только сказал:

- Р-раз!

И над водой, извиваясь, запрыгал цветистый окунь.

- Иди-ка сюда, дьяче, - говорил ему дьякон.

Он осторожно и любовно снял окуня с удочки, подержал его в руках, любуясь им. И опустил в сетку. Потом насадил свежего червяка и сосредоточил всё внимание на поплавке. А Фока чему-то про себя усмеялся и потом заговорил:

- Отчего это, о. дьякон, вы про человека-то и забыли?

- Как так?

- Все... поют! А отчего он один сквернословит?

Дьякон подумал и кратко сказал:

- Бес!

Фока посмеивался:

- Бес-то... оно конечно, тварь хитрая. А всё же... Вот я по земле странствовал, разного народа перевидал ни есть числа. И промежду прочим, сектантов. Их много в нашей стороне. Есть такие, что в белых рубахах ходят, и лица у них светлые. Есть тоже книжники: каждую святую букву он тебе расскажет. И есть тоже такие, что дыре молятся.

- Дыре-е? - удивился дьякон.

- Да. В темной комнате провернет дыру на свет и лучу молится. Это, говорит, око Божие.

- Еретики, - хмуро сказал дьякон. И отплюнулся. - Их ждет пламень огненный.

- А почему же, скажите мне, о. дьякон, живут-то они по Божьи? И каждый каждому - брат. На церковного человека после них посмотришь - совестно. Каждый друг другу не брат, а мошенник! И Бог-то у них только на словесах. Да ежели бы ихнего-то Бога гденибудь поймать да в лицо ему посмотреть!.. бес!

Дьякон круто и подозрительно взглянул на Фоку. И отвернулся.

- А не поехать ли нам на карасика, Фока Леонтьич?

Фока посмеивался:

- Можно.

- Там я на жереха поставлю, а то здесь что-то не того... надувает рыбка Божия.

Они сложили удочки и выплыли на светлую гладь.

Солнце уже взошло, но было еще багровое от испарений. Чуть заметный туман вставал над берегами. Река дышала холодком. Они скользили по течению. И, казалось, берега бежали мимо них, берега, покрытые синими цветками - теми, что свертывают свои лепестки днем. Кое-где ива склонялась, будто целуя воду. Или хмуро отражался в воде, словно в зеркале, лес. Внезапно наполнил окрестности гулкий голос колокола: это о. Валентин собирался дохаживать по приходу. Дьякон снял шапку и медленно перекрестился. А колокол пел: «...до-ун... до-ун... дон...» Из камышей шумно вылетали утки и, делая круги, с криком улетали в поля.

- Людие мечутся, - задумчиво заговорил дьякон, - а никому же гонящу. Всё им мало. И оттого... зло! - Он искоса посмотрел на Фоку. - А им бы радоваться. Не для них ли сотворил Господь всяческая? И солнце с луной... и звезды. Землю распространил во все стороны и покрыл ее цветами. Ходи, человек Божий, и радуйся, поучаясь у тварей поднебесных. Пой хвалу! И славь! Вот птичка: поклонит зернышков - и поет... Смотрит на солнышко глазком - и весело ей. Радуется! Вот и рыбка речная - клюнет...

- И на удочке! - подхватил Фока.

Он весело засмеялся.

- То-то и есть. А может, каждый человек у кого-нибудь на удочке сидит? Оттого и мечется.

- У беса, - сказал дьякон; он нахмурился и смолк. - А сектантов не люблю! - круто добавил он.

Фока молчал и посмеивался.

...Речные берега разошлись полукругом. Широкий, светлый плес. Фока направил лодку к крутому берегу. В тени лесной чащи, тут вода почти не двигалась. Корни деревьев выпирали из глинистого берега и, как чудовищные корявые пальцы, тянулись к темному омуту. Словно вечная прохладная тень сторожила омут. Над ним склонялись недвижные ивы и точно плакали светлыми слезами. С вышины берега в него задумчиво смотрели вековые дубы и вязы, сгибаясь над обрывом. А немного дальше река светлела и искрилась, отражая солнце.

Над омутом, к корням они привязали лодку. Фока, налаживая удочки, сказал потихоньку:

- Отчего это у вас, о. дьякон, свет клином сошелся?

- Клином? - удивился дьякон, - то-есть, как это?

- Вот вы... сектантов не любите. А православные для вас... у беса на удочке сидят. Стало быть, и прочих - кои староверы, иудеи, или мухометане... у коих свой Бог.

- У них Бог ложный!

- Или вот там... калмыки...

- Они в змия веруют, - хмуро сказал дьякон.

- Пусть. А разве солнце Божие не на всех светит? И всех радует. Зачем же человек на человека только холод напускает! И может ли человек сказать брату своему, хотя бы и грешнику «не люблю тебя»?

Дьякон уже собирался бросить крючек в воду, но задержал его в руке и повернул к Фоке лицо. И вдруг лицо его осветилось доброй улыбкой.

- Это верно, - вскричал он: - Господь их разберет; не мое дело!

Потом, помолчав, склонился на Фоку.

- А вы, часом, не сектант?

Фока усмехнулся как-то загадочно.

- В церкви венчан...

Тут подошло целое стадо окуней. Под лодкой, в глубине омута, они заинтересовались червячками - и один за другим становились жертвой доверчивости. Дьякон и Фока то и дело подсекали. Темно-золотистые рыбки мелькали в воздухе и, снятые с крючка, в мутном ужасе разевали маленькие рты. Дьякон и Фока напряженно молчали. Иногда только дьякон шептал:

- Ну, и рыбка... точно дьякона в пасхальных стихарях.

Вдруг он вытащил леща.

- Ого, теперь архиерей пойдет, - возрадовался он.

Но в темной глубине, повидимому, произошла какая-то драма. Больше не клюнуло. На поплавки скучно смотреть - так они неподвижны.

- Щука подошла, - соображал дьякон: - либо сом. - И он смеялся: - Консистерия!

А солнце взбежало уже высоко, стало золотое и знойное. Вдали над полями стояло марево, и теплый воздух, как из печи, временами наплывал оттуда. Вокруг всё пело, стрекотало, крикало, звонко пищало и где-то квакало, - точно сотни ртов враз издавали разноголосые звуки. Водяная крыса плескалась у берега. Кто-то со дна пускал пузыри. По реке то и дело шли круги играющей рыбы. И в реку упала иногда чайка, как белая молния. А в лесу пели дрозды, малиновки. И где-то одиноко и отчаянно кричала галка.

Фока с дьяконом взобрались на крутой берег, развели костер, вскипятили чай. И, сидя у обрыва, чтобы всё время видеть крючки, благодушевствовали со стаканами в руках. Дьякон предавался воспоминаниям о разных случаях на рыбной ловле. И всё смотрел вокруг и любовался, и вздыхал радостно:

- Какая благодать! Умереть бы тут - и то весело. А уж эти мне... камни... Надоели!

- Какие камни, о. дьякон?

- Город!

Фока задумчиво глядел на реку. И вдруг спросил:

- Отчего это, о. дьякон, свет-то Божий... для вас чужой? Вот вы всё говорите: «не мое дело».

- Как так? - дьякон круто и удивленно повернулся к Фоке: - Да что вы, Фока Леонтьич, всё с вопросами? Даже странно!

- С хорошим человеком и поговорить интересно. А без вопросов... как же? Не проживешь.

И как бы считая это дело поконченным, Фока заговорил задумчиво и медленно:

- Вот вы говорите, о. дьякон... земля! Оно точно. Распространилась она, эта самая земля, очинно даже широко. И цветов на ней много. А вот понюхать их... нельзя!

- Как, нельзя?

- И ходить по ней, по земле-то, тоже... невозможно.

- Почему?

- Чужое всё! - Фока взглянул на дьякона. Кроткий глазок его был темен и пытлив.

И вдруг Фока представился дьякону каким-то другим, чем за всё это время - каким-то новым и очень серьезным. Дьякону даже подумалось, что душа у Фоки - омут. «А какая там рыба плавает - поди-ка, разбери!». Но уж очень скоро дьякон разобрал, что и рыба там очень серьезная, только незнакомая какая-то и странная - то зуб щучий покажет, то вдруг обернется веселым головлем; а там уж это и не головль, а сом, да с таким ртом, что вселенную заглотает. Дьякон наполовину и не понимал его слов, но изо всех его речей перед ним всплывало, билось, пугало его одно только слово, и оно бежало над рекой и уносилось в поля, где сияло марево: «...земля... земля...»

«Да что это он наладил?» - недоумевал дьякон.

Фока подбросил сухих веток в костер. Встал.

И прохаживался, хотя у костра было очень жарко. Будто стал выше ростом. Говоря, всё выбрасывал руку, и глазок его сверкал. Видно было, что уж очень много накопилось в нем такого, что надо было поскорее высказать.

Дьякон забыл про крючки и всё с большим удивлением смотрел на него. «А уж не правы ли дети? - думал он: - человек-то беспокойный».

А Фока начал с маленького, со своего, с деревенского. А потом вдруг побежал по полям, и поля от его бега стали черные, проросли лопухом, крапивой и польнью. Исчезло светлое марево, всё облегла мутная мгла. И в этой мгле он метался, путался в травах, не находил выхода, звал, кричал: «Земля...». И с горькой улыбкой, с темным взглядом, вспоминал каких-то детей, хоронил их, плакал над ними. И бежал к людям Божьим, к странникам, к сектантам, и спрашивал их о чем-то таком, от чего дьякону становилось страшно и жутко.

Он смотрел в горящее лицо Фоки, и вдруг понял, что там, в омуте, в сердце Фоки, живет лютая тоска, и что она в какой-то связи с этим неумолкающим криком его, с этим словом: «Земля... земля...»

Мутная мгла превратилась в багровую. И по багровому небу поплыли багровые тучи. Что-то ломалось и с грохотом рушилось вокруг, а Фока стоял, как в дыму и пламени, и дико радовался и зло смеялся. Вдруг он смолк, сел, будто успокоился. И лицо у него опять стало кроткое.

- Ежели по справедливости-то, - тихо сказал он: - разве не так?

Дьякон покрутил головой.

- Не знаю, Фока Леонтьич.

- Как же вы не знаете, о. дьякон? Вы человек ученый.

- Не моего ума дело.

- А чьего же?

- Божьего. Как Господь устроил... значит, и хорошо. Значит, и полезно для человека. А переиначит Он... - Дьякон подумал: - тоже будет хорошо!

Фока хмуро усмехнулся.

- Значит, и дожидаться, когда Он переиначит?

- Конечно. Ибо сказано Им: будет новое небо и новая земля. - И дьякон поспешно добавил: - Только это *на том свете!*

В этот момент случилось сразу два события. Кто-то из воды так натянул толстую лесу, что лодка зашевелилась. И в то же время из села донесся набатный звон: короткие удары гулко бились в воздухе и точно спешно бежали, падая в полях.

- Сом! - дьякон кинулся в лодку: - Сом... сом! - Он отвязал лодку.

И теперь кто-то большой и сильный там, в глубине, натянув лесу, повлек лодку к середине реки. А Фока стоял, вытянувшись, на обрыве, слегка расставив руки, и напряженно смотрел в сторону села: село виднелось вдали, как большой желтый змей, разлегшийся в зелени. Дыма не было... значит, не пожар.

Сердце Фоки тревожно билось от каких-то предчувствий, которых он и сам не сумел бы объяснить. А дьякон вопил:

- Сом... сом!

Он наматывал лесу на руку и тянул ее, и сдерживал, словно управляя невидимым конем, а другой рукой приготовлял большую сетку, чтобы подцепить рыбу.

- Митрополит попал, - веселился он, - патриарх!

Лодку тянуло вправо, влево. Дьякон всё ближе подводил к себе рыбу, и уже видел в воде ее темную, изгибающуюся спину.

- Сюда, сюда, - орал он: - сюда, ваше преосвященство! Сюда, владыко, сюда! Ого-го, - веселился он. И ликовал, и пел: - «Испо-лаите де-е-спота!»

Но деспот был упрямый. Он рвался, крутился. Лодку кренило.

Вдруг дьякон поднял голову.

- Что это? - прислушался он к набату.

Для деспота было этого довольно. Он рванулся.

Дьякон полетел в воду.

- Лодку держи, лодку, - кричал он, барахтаясь, но не выпуская, однако, лесы.

Фока кинулся за лодкой.

А дьякон плыл к берегу, постепенно распуская лесу, выбрался на берег и опять вступил в борьбу с водяным чудовищем. Надо было тянуть осторожно, чтобы не оборвать лесы. К нему подоспел на помощь и Фока.

И вот из воды показалась огромная и страшная голова с усами. Она сделала последнюю попытку метнуться в глубь. Но Фока уже подставил сетку. И темное водяное чудовище забилося на берегу. У дьякона тряслись руки от восторга.

- Ка-кой хо-роший! Ах, ты... ми-и-лый!

Но тут он опять в беспокойстве поднял голову.

- Набат, кажется, был?

- Набат, - как-то разочарованно ответил Фока, - да очень недолго.

- Пожар, что ли?

- Дыму не было.

Дьякон почесал в голове.

- Бежать надо. Не опять ли Валентин напрокудил... ох!

Но взгляд его упал на сома. И он опять расцвел и засмеялся, и подмигнул Фоке:

- А уж пирожка поедим... из патриарха-то!

Церковная ограда была полна: мужики и бабы толпились вокруг крыльца.

На крыльце сто-ял о. Валентин и кричал. И все кричали ему в ответ.

- Я не позволю, - потрясал руками о. Валентин, - не позволю собой командовать!

Фока остался позади.

Дьякон пробрался к крыльцу и встал рядом с сыном. И, увидавши его, все в раз закричали:

- О. дьякон! Вот он... дьякон.

Тесно обступили крыльцо.

- Он... рассудит!

О. Валентин яростно кричал:

- Я облечен властью... свыше! От Господа облечен я! Я - начальник душ ваших, ибо разрешать и связывать дана мне власть. Я...

Но слова его заглушались криками:

- Пусть дьякон...

- Рассуди нас, дьякон!

- Рассуди с ним...

Большой красный мужик шумел:

- Ен бумагу разорвал!

Дьякон стоял в непросохшем еще подрыснике, в волосах его запутались водоросли. Он задумчиво смотрел на красные, злые лица и прислушивался к крикам.

- Папаша, отстранитесь! - кричал о. Валентин: - тут не ваше... тут приходское дело.

В толпе подхватили:

- Папашу не отстраняй!

- Папаша-то... он лучше тебя всё знает, он рассудит...

- Папаша... рассуди!

Дьякон слегка отвел рукой сына.

- Папаша! - угрожающе крикнул о. Валентин.

Дьякон усмехнулся.

- Чего пугаешь... не страшный.

- Я вас прошу...

- Успокойся!

- Не вступайтесь в мое пастырское дело.

- Замолчи! Я по своему делу.

- Вашего дела тут нет. Какое тут ваше дело?

- Да вот люблю я слушать... страшные истории.

- Что-о?

- А тут видишь, сколько их рассказчиков-то.

Со всех сторон из толпы кричали дьякону:

- Он притеснитель!

- Мы в секту уйдем.

- Мы уйдем...

- К молоканам мы уйдем!

- Он...

Жалобы разрастались. Всё, что только накопилось против священника, изливалось в обвинениях. Кричали до хрипоты в голосе, пока страсти не разрядились в словах. Толпа стала стихать, только где-то еще вопил большой красный мужик настойчиво одно и то же:

- Ен бумагу разорвал!

И вдруг как-то враз все смолкли. Тогда заговорил рыжий староста, похожий на таракана:

- Общественный приговор... такса. С печатями и подписями. В церкви висело. А он...

Староста указал на о. Валентина:

- Разорвал!

Наступила тишина. Кто-то крикнул:

- Ну, что ты скажешь, о. дьякон?

Дьякон задумчиво глядел в землю.

- Что я скажу?

Он посмотрел вверх, в небо, и перевел глаза на колокольню.

- Скажу, что... звонили-то не так! Меня надо бы позвать. Какой же это звон? Трах-тарарах, ни то, ни се. А вот у нас раз в городе... пожар! Я на колокольню... Чудес там натворил. Все в городе догадались: это дьякон звонит! Так вот, в другой раз, ежели... так-то вот выйдет... - Он подмигнул: - За мной прибегите.

В толпе поплыл смех.

- Ты о деле-то скажи!

- А то вот раз, - продолжал дьякон! - такой случай был: драка! Под окном сижу, смотрю - не судом дерутся двое. У одного из носу кровь фонтаном, другой синяками разукрашен вместо глаз. Друг друга за волосы волочат и вопят неведомо что. Ну, я вышел. Развел их. «В чем дело?» - спрашиваю. Стали они мне объяснять... а и драться-то не за что! Потом смотрю - по улице... и-и-дут рядом...

Толпа снова засмеялась.

- Загадки говоришь, о. дьякон.

- Я не одни загадки... и пословицы знаю.

- А ну-ка... скажи!

- Худой мир лучше доброй ссоры.

- Нет, ты погоди! - уже весело кричали в толпе, - нет, ты стой! Зубы-то не заговаривай! Нет, ты скажи: что об этом деле думаешь?

- Что я думаю?

- Да, да... да!

- Я думаю, что вот...

Дьякон усмехнулся.

- На реке я был. И такая там благодать! А рыы-бы-ы... Кабы, братие, да бредень. Все бы мы беды забыли и такую ушицу смастерили... на всех бы хватило!

Тут толпа стала одним смеющимся ртом:

- Бредень... вот это верно!

- Ай, да дьякон!

- Бредень...

- Рассудил!!

- Ребята, тащи бредень!

- Уважим дьякона!

Большой красивый мужик метался перед дьяконом.

- К нам иди. К нам! Мы тебя в попы выпросим.

О. Валентин ступешался, скрылся. Про него забыли.

Вынырнули откуда-то Петрович и Василий Терентьич. Взяли дьякона под руки. Толпа жала, окружила его и только его седая голова возвышалась где то в центре. Из переулка пять человек тащили бредень. Отовсюду скакали ребяташки.

- Баб! - кричали в толпе: - С котлами. Уху варить!

...Берег реки запестрел, ожил. В воде шумно бурлили волосатые люди. И гаркали, и орали выволакивая бредень на отмели. И опять шли в глубину. Хлопали по воде, загоняя рыбу в бредень. Вверху в испуге кружились вспугнутые утки.

Спустилась ночная мгла. Запылала костры. Разгорелось веселье. Но тут над рекой оно было другое, не то, что тогда в селе. И в шумном говоре у костров перед дьяконом опять всплыло слово - то магическое слово, от которого давеча душа Фоки показалась ему темным

омутом. Но и тут, в ночной тьме, при зареве костров, в звуках тревожно-веселого говора ему почудился тот же таинственный, пугающий омут. И он крутил головой: - «Мечутся люди».

На утро, рано, о. Валентин увидел в окно, что дьякон запрягает лошадь.

О. Валентин вышел на крыльцо.

- Куда это, папаша?

Дьякон молча затянул супонь, поправил дугу, потом сказал, не оборачиваясь:

- В гостях хорошо... а дома лучше!

Потом он холодно простился с детьми, сел в тарантас. И уехал.

- Приедете еще, папаша, надеюсь, - сказал в воротах о. Валентин как-то так... между прочим.

Дьякон промолчал.

За селом он обернулся, увидел широкий, светлый речной плес. Приостановил лошадь, снял шляпу. Долго смотрел, кивал лицом. Потом нахлобучил шляпу низко на глаза...

И погнал лошадь.

*Конец*

**С.И. Гусев-Оренбургский.**



*Спокойствие –  
это величайшее  
проявление силы.*

*Вбивая гвоздь в душу человека, помните,  
что даже вытаскив его своими извинениями,  
вы все равно оставите там дыру.*



Художник-варвар кистью сонной  
Картину гения чернит  
И свой рисунок беззаконный  
Над ней бессмысленно чертит.  
Но краски чуждые, с летами,  
Спадают ветхой чешуёй;  
Созданье гения пред нами  
Выходит с прежней красотой.  
Так исчезают заблужденья  
С измученной души моей,  
И возникают в ней виденья  
Первоначальных, чистых дней.

1819

**А. С. Пушкин**



*Совість мучаєт обычна тых,  
кто не виноват.  
Эрих Марія Ремарк.*



**Я** теперь за счастьем не гонюсь,  
Сердце ничему не отдаю.  
Я хочу уйти и кануть в Русь,  
Словно в омут, в Родину свою.  
Раствориться без остатка в ней,  
Даже имя в ней своё забыв,  
Слиться с нежной зеленью ветвей,  
Что струится в пруд с печальных ив.  
Чтобы только ветер шелестел  
Над моей усталой головой;  
Чтоб тоска, пройдя земной предел,  
Превратилась в радость и покой.  
Чтобы я о прошлом позабыл  
И не лгал о будущем себе,  
Чтоб угас бы сердца глупый пыл  
И пришло смирение судьбе.  
И навек смирившись, присмирив,  
Не своей жил болью, а чужой,  
И стихов моих простой напев  
Нежной и ласкающей волной  
Исцелял, целил сердца людей  
Как разлив и ширь родимых рек,  
Чтобы звук души, тоски моей  
Не смолкал, не гаснул бы вовек.  
И когда не буду я в живых,  
А в иной, нездешней стороне –  
Шелестом берёз звучал мой стих  
Как печаль и память обо мне...

**Эдуард Ковшевский.** Россия.



# Саломея

Приключения, почерпнутые  
из моря житейского.  
Александр Фомич Вельтман.

Начало см. № 54

Продолжение

КНИГА ПЕРВАЯ

Часть третья

II

II



Дмитрицкий - разбитная голова; об этом и спору нет. Большая часть читателей, вероятно, уже догадались, для каких причин, пользуясь чувствами великодушия, про которые так много говорила Саломея, возбудил он в ней сострадание к несчастному семейству, погруженному, как говорится, в пучину бедности. Может быть, догадливые читатели полагают, что он, пленившись Саломеей, желал сам воспользоваться ее великодушием? Нисколько. С первого взгляду он ее возненавидел и, осмотрев с головы до ног, назвал по-латыни зверем. Когда же она заговорила о великодушии, которое так свойственно человеку и которого ни в ком нет, разумеется, кроме нее, тогда, вы помните, он воскликнул: «Великодушие? о! это пища души! Я не знаю ничего лучше этого! я понимаю вас! Вы должны сочувствовать всему, сострадать о человечестве!» Саломея скромно отвечала: «Да, я очень чувствительна».

«Ах ты, великодушный, чувствительный демон!» - подумал Дмитрицкий.

- Скажите, пожалуйста, что за человек - муж этой прекрасной дамы, с которой вы меня познакомили? - спросил Дмитрицкий у Михаила Памфиловича по окончании литературного вечера.

- Федор Петрович очень добрый, прекраснейший человек, - отвечал Михайло Памфилович, - он из военных.

- Неужели? Открыто живет?

- О, как же!

- Она меня звала завтра к себе, да людей моих нет; а мне нельзя же свиньей явиться в гостиную.

- Попробуйте, не впору ли будет мой фрак.

- В самом деле. Может быть, чуть-чуть узок; но ведь портные говорят, что все, что широко - ссядет, а что узко - раздастся.

- Поедемте вместе.

- Вместе? нельзя: мне надо завтра сделать несколько визитов, и потому не могу определить именно время, когда попаду к ней.

- Будете у кого-нибудь из здешних литераторов?

- Разумеется.

- Вы знакомы с Загоскиным ?

- Вчера только первый раз видел его у вас.

- Ах, нет, вы ошиблись, - сказал Михайло Памфилович покраснев, - он обещал., но не был.

- А кто ж это такой из известных литераторов московских был у вас, причесан а ла мужик, и все читал стихи о демоне?

- Ах, это Зет; это его поэтическая фамилия, он подписывает Z под стихами своими. Как понравились вам стихи его? Я хочу их поместить в альманахе, который издаю.

- Не дурны, очень не дурны.

- Не правда ли», что много огня?

- Тьма! да и нельзя: демон без огня - черт ли в нем.

- Я хочу обратиться и к вам с моей просьбой; я уверен, что вы не откажете украсить своим именем мой альманах: все литераторы участвуют в нем... что-нибудь, хоть маленькую повесть.

- Пожалуй, пожалуй, извольте; какую вам угодно повесть?

- Да какую-нибудь.

- Нет, для чего же какую-нибудь, вы просто скажите, какую вам хочется?

- Что-нибудь в русском духе.
- Пожалуй, с величайшим удовольствием, отчего ж не сочинить.
- Какие условия угодно вам будет назначить? Я на все согласен,
- Какие условия?
- С листа ли угодно будет назначить цену, или за все сочинение?
- Разумеется, за все. Загоскин, кажется, взял за роман сорок тысяч,
- Михайло Памфилович побледнел.
- Ведь это роман, - сказал он.
- Да, я роман вам и напишу.
- Ах, нет, в альманах нельзя поместить романа: какую-нибудь маленькую повесть... листа в три печатных.
- Ну, за повесть можно взять дешевле, за повесть можно взять половину.
- Нет, уж, сделайте одолжение, по листам; мне иначе нельзя.
- Вы что ж полагаете за лист?
- Двести рублей.
- Только? Двести рублей за целый лист кругом? Вы думаете, что легко исписать целый лист? Да я не возьму тысячи рублей.
- Как это можно, я не могу столько заплатить.
- Вы не можете? Позвольте не верить! Составляет ли это счет для вас! Неужели вы перебиваетесь?

Самолюбие Михаила Памфиловича затронулось словом *перебиваетесь*; он ужасно боялся, чтоб про него не только не сказали, но и не подумали, что он бедный человек.

- Помилуйте, - отвечал он с выражением, что ему нипочем деньги, - я не потому говорю, чтоб мне составляло это какой-нибудь особенный счет, но...

- Ну, вот видите ли, - прервал Дмитрицкий, - я уверен, что вы сам не решитесь иначе за перо взяться. Не правда ли?

Если б Михайло Памфилович был уже сам лично сочинитель и если б он поместил уже какую-нибудь статейку в какой-нибудь ежемесячник, то, верно бы, подумал с значительной улыбкой: «Да, я - это дело другое»; но он только еще писал разные проекты и мнения об разных улучшениях по разным частям человеколюбия, писал, как пишут великие люди», поручая писать за себя людям, умеющим писать и знающим дело. Проекты эти он читал сперва своему родителю, удивлял его всеобъемлющим умом своим и брал с него деньги на переписку проектов отличной рукой для представления высшему начальству.

- Помилуй, братец, - говорил родитель его, - неужели ты платишь за переписку так дорого?

- Да как же, папенька, ведь этого нельзя поручить какому-нибудь писарю; мне переписывает чиновник.

- А, это другое дело, - говорил папенька и выдавал ему на переписку какой-нибудь тетради ту сумму, за которую сочинялся проект, например, о том, как искоренить нищих.

Написав проект, Михайло Памфилович давал обед, приглашал всех своих сослуживцев и всех сочленов и читал проект. За прекрасный обед и предварительные угощения все находили проект вообще очень замечательным; но в частях один советовал то исправить, другой - другое, третий - третье; а Михайло Памфилович находил, что замечания каждого очень справедливы, что проект действительно по мнению одного должно исправить, по мнению другого пополнить, по мнению третьего сократить, по мнению четвертого пояснить и распространить. Но свести эти мнения было гораздо труднее, нежели выдумать новый проект; и потому все проекты Михаила Памфиловича после обеда, данного сочленам, поступали в портфель для хранения.

Все это было причиной, что Михайло Памфилович умел ценить чужие сочинения и был необыкновенно как доволен замечанием известного петербургского литератора, который, будучи известным литератором, взял его в сравнение с собою.

- Я ничего еще не издал в свет, - отвечал он скромно, - я писал по большей части проекты и мнения, которые, я уверен, пойдут в ход, особенно проект о распространении просвещения во всех сословиях народа.

- О, я понял тотчас, что вы государственный человек: проект о распространении просвещения во всех сословиях - это не шутка! Это все равно, что одно сословие вылечить от куриной слепоты, другому снять с глаз катаракты, третьему спустить темную воду, и так далее, - это не шутка! Так мы дело кончили?

- Я согласен; по напечатании книги я немедленно вам доставлю, что будет следовать.

- Э, нет, лучше вперед; так я уж и присяду.

- Мне, впрочем, все равно; но теперь у меня наличко нет столько денег; покуда позвольте отдать половину.

- Хорошо; повесть в четыре листа; так четыре тысячи.

- Нет, не более двух листов; потому что уж и так альманах слишком велик.

- Полноте! Книга чем толще, тем лучше; это известное дело. Так четыре тысячи.

Михаил Памфилович не умел отговориться. На другой день он объявил отцу, что купил для своего альманаха у петербургского известного литератора чудесную повесть за пять тысяч рублей, и что ему тотчас же надо заплатить.

- Помилуй, Миша, что ты это, с ума сошел? За повесть пять тысяч рублей! Да ты меня разорил совсем!

- Что за дорого, папенька; вы знаете, что значит имя известного литератора; я напечатаю тысячу двести экземпляров, по десяти рублей - вот вам и двенадцать тысяч; да я еще думаю напечатать два завода - их тотчас расхватают; а это составит двадцать четыре тысячи...

- То-то, брат! В таком случае пять тысяч - не брошенные деньги. Да у меня теперь наличко только и есть, что три тысячи; разве билет Опекунского совета.

- Это все равно.

Получив деньги, Дмитрицкий, как вы помните, отправился обозревать Москву в наемном фаэтоне, распорядился богатой экипировкой в магазине готового платья на Тверской, завился на великой фабрике париков, расспросил извозчика кое о чем, съездил кое-куда и познакомился с семейством, погруженным в бездну нищеты, и наконец, часу в третьем, прибыл, как вы помните, с визитом к Саломее Петровне.

Супруг ее, Федор Петрович, ему очень понравился. «Эх, брат, черт тебя женил на Саломее Петровне, - думал он, слушая рассказы его про службу, - я готов прозакладывать голову, что ты с удовольствием проиграл бы мне в банчик тысяч десятков, если б не помешала жена. Худо, брат, сделал, что женился. Жаль! Эта баба изведет тебя, так изведет, что умирать нечему будет... Нет, друг, уж извини, я этого сносить не могу! Я ее приберу к рукам, я ее вышколю!...»

Эти мысли прервала приходом своим Саломея Петровна, и вы помните, как и куда направил он ее благодетельное, великодушное сердце. После первого свидания с ней у несчастной матери, имеющей на руках пять дочерей, Дмитрицкий имел второе свидание. На втором свидании назначено было третье; но уже не у несчастного семейства. Отправляясь домой, Дмитрицкий был вне себя от досады.

«Негодная бабенка! - говорил он, - ну, глуп, брат, ты, Федор Петрович! иметь такой капитал и положить его вместо Опекунского совета в Саломею Петровну! Лучше бы поставить на карту, по-крайней мере риск - благородное дело. А то, черт знает что: Саломея Петровна! Нет, душа моя, Саломея Петровна, этого я не перенесу; это просто бесит меня - взбунтовало всю желчь! Извини, тебя поздно учить, а надо проучить! Едем со мной, едем, непременно едем! В Москве нам делать нечего, я тебя прокачу на юг... Там, радость моя, чудо что за природа: какие там дыни-мелоны, что за виноград, роскошь! Скажи, пожалуйста: в полгода от двухсот пятидесяти тысяч не осталось и половины... Каково? Дурак, Федор Петрович! В остальные полгода она похерит и остальные. Нет, мечта, не позволим! Денег Федору Петровичу, так или иначе, а уж не видать в своем кармане. Но, по-крайней мере, у него останутся души в целости. Едем, Саломея Петровна, едем!»

Рассуждая таким образом, Дмитрицкий распорядился насчет дорожного дорме-за, найма лошадей, а, главное, верного и надежного человека, непременно из иностранцев.

- Вы уезжаете? - спросил его Михайло Памфилович.

- Да, мне давно пора ехать, насилу дождался моего камердинера с экипажем. Повесть вы получите в скором времени по почте.

Распростившись с Михаилом Памфиловичем, Дмитрицкий, подобно Федору Петровичу, в один прекрасный вечер подъехал к галицынской галерее, подал у подъезда руку какой-то даме в вуали, подсадил ее в карету, сел сам и - наши поехали.

- Не забыла ли ты, душа моя, подорожную? - спросил он прежде всего у дамы.

- О нет, я ничего не забыла.

- И сердце, полное любовью, с тобой?

- О, вот оно, вот! Чувствуешь, как бьется?

«Худо уложено, возлюбленная моя! - подумал Дмитрицкий, - в дорогу должно так укладывать все, чтоб не билось».

На заставе записали подорожную: Федор Петрович Яликов, с супругой, в свое поместье.

## III

До сих пор мы познакомились со сносными людьми; теперь познакомимся с несносным человеком - с жилой. Знаете ли вы людей, которых называют жилами. В самом зарождении своем это полипы в человеческой форме. Только что выключнутся из яйца, мозглявые с виду, как сморчки, они уже тянут жилы неестественным своим криком; спокойны только тогда, когда сосут грудь, сосут досуха. Глаза и руки у них тянутся ко всему, все подай или беги от крику. Избави Бог быть братом или сестрой жилы, не приведи Бог быть товарищем и сослуживцем жилы, отклони Бог всякую быть женой жилы и всякого быть детищем жилы.

Из этого числа людей был Филипп Савич, помещик Киевской губернии. Имея самую слабую и хилую комплекцию, он выжилил, наконец, себе тучное здоровье. Не имея в себе ничего, что бы могло нравиться женщине, он выжилил любовь. Не имея состояния, выжилил жену с состоянием. Когда нечего ему было жилось, душа его наполнялась каким-то беспокойством, озлоблением, и тогда он привязывался к жене, детям, к людям, и жил спокойствие всех домашних. Но наконец, по каким-то актам, он привязался к соседскому имению и посреди удачи тяжёлых забот оставил в покое жену, детей и домочадцев; и была в доме тишина ненарушимая и всему воля. Стали даже завидовать счастью Любови Яковлевны, несмотря на то, что, по болезненному состоянию здоровья, она была уже сидень. Она одна, своим умом и сердцем, заботилась и о детях.

Естественные и, следовательно, законные гувернеры и гувернантки - сами родители; исключая, разумеется, случаи неизбежной необходимости замещения - смерть и болезни; но к числу болезней приписались и лень, и беззаботность, и навык к безделью, и привычка загребать жар чужими руками, и, наконец, приятность застраховать себя тысячи за две, за три в год от труда воспитывать детей и наблюдать за их телом и душой.

Следуя потребностям времени, Филипп Савич для французского языка принял на хлебы мадам Воже, старую француженку, болтовню, современницу того времени, когда во Франции все *загуляло*, перепилось, передралось и все перебило. От ужасов вакханалий она эмигрировала; но впечатления ее сосредоточены были на счастливом времени первого разгула.

Мадам Воже также вкусила от сладости плода, внушающего побуждение любить, и несмотря на то, что прибыла в Русь, что называется, уже под исход дня и приняла на свое попечение Георгия, не более как двенадцатилетнего мальчика, она восчувствовала к нему особенную нежность и стала откармливать для себя сладкой пищей. Присоветовав Филиппу Савичу учить и воспитывать сына дома, она угодила этим чувству матери, которая, как и все, не любила мысли о разлуке с единственным и любимым сыном. Приняв все заботы об управлении воспитанием Георгия на себя, мадам Воже постепенно распалила воображение юноши понятиями о какой-то любви и неге. Холодный отец не умел ласкать, болезненная Любовь Яковлевна любила сына, но в ней чувство нежности давно завяло; и потому нежность и ласки мадам Воже, передаваемые вместе с французским языком, для него были соблазнительны.

Отец и мать считали Георгия ребенком; но мадам Воже развивала в нем чувства возмужалости, льстила самолюбию юноши, и между тем искусственным образом час от часу молодеда и снова принялась за образование своей немного распущенной талии посредством корсета.

Когда Георгий вступил в возраст юноши, мадам Воже приступила к последнему курсу; он хорошо уже говорил по-французски; но еще не знал разговора о любви...

Сначала, лаская его страстно, она говорила:

- Вот как должна тебя любить мать!

Приобретя материнское право целовать его, она говорила ему:

- О, как ты пламенен, сколько в тебе нежности! Знаешь ли ты, что я сама любима в первый раз так, как ты меня любишь! - И она отирала глаза платком и жаловалась на судьбу, что первая ее молодость погибла в бурях и неведении истинной любви. - У меня не было друга; будь ты моим другом, но втайне, чтоб никто не позавидовал моему счастью...

Эта высокая оценка чувств юноши и вызов на таинственную дружбу приятно возмутили наклонную к мечтательности душу Георгия. Не понимая еще вопиющего неравенства лет, он видел в этой дружбе сочувствие душ.

Возбуждая в молодом сердце Георгия жажду любви, пожилая фея превращалась в источник и выжидала минуты, когда юноша бросится в него утолить палящую внутренность. Это желание было уже в ней непреодолимой страстью.

Когда, в пылу замыслов, она думала, что уже время заменить нежность дружбы и ласки нежностью любви и порывами страсти, Георгий, как испуганный, не знал куда бежать от нее...

Природу можно обмануть только один раз. Этого не рассчитала мадам Воже. Она сначала думала, что только девственная скромность заставляет юношу убегать от нее. Нежными и томными взорами покоренной невинности смотрела она на Георгия, как на победителя, и, казалось, говорила: «Я - твоя!»

- О, как ты хорош, мой Георгий! - произнесла она однажды, тихо склоняясь на плечо Георгия. - Георгий, взгляни на меня! - прибавила она, взяв его за руку, - улыбнись мне... о, как ты очарователен!

Она хотела обвить его рукою; но Георгий вспыхнул, оттолкнул руку, вскочил с места и вышел вон. Это было первое невнимание к словам воспитательницы и первая дерзость, оказанная ей учеником; но она перенесла ее, пошла вслед за ним, зовет его к себе. Георгий как будто не слышит.

- Это что значит, Георгий? За мои попечения, за мою любовь ты огорчаешь меня?

Георгий проходит мимо.

- Георгий, ты меня терзаешь! Ты приводишь меня в отчаяние!

Георгий вырвал руку, которую она схватила, чтоб удержать его.

- Ах, умираю! - вскричала она, наконец, - Георгий, я умираю! Доведи меня...

Но Георгий уже ушел.

Все эти сцены происходят, как говорится, под носом отца и матери и всего дома; но никто не знает о них.

Мадам Воже в отчаянии, не понимает причины внезапной перемены в Георгии, хочет принять тон строгой воспитательницы. Но боится, что раздраженный молодой человек откроет ее замыслы отцу и матери. «О, тут есть какие-нибудь посторонние причины! - думает она, - он так был очарован, так любил меня!» И мадам Воже начинает замечать за Георгием...

Одна старая девушка, Юлия Павловна, подруга молодых лет Любови Яковлевны, часто бывая в доме, более всего наводит подозрение мадам Воже. «О, недаром эта нежность к Георгию и поцелуи... она целует его как ребенка! А между тем этот ребенок очень понимает, что такое значат поцелуи... и я так была глупа, что меня провел молокосос!..»

В понятиях мадам Воже, Георгий представлялся самым утонченным демоном соблазна. Решив таким образом, мадам Воже вспыхнула ревностью к Юлии Павловне, которая все-таки была двадцатью годами моложе ее.

Когда Юлия Павловна приходила в гости или гостила, мадам Воже тайно следила за каждым шагом Георгия, наблюдала взоры его, прислушивалась к разговорам. Право Юлии Павловны ласкать Георгия давно уже сердило мадам Воже, и она всегда говорила ему, что неприлично позволять себя целовать девушке, что он уже не ребенок. Это было причиною, что Георгий, чтобы избежать ласк Юлии Павловны, избегал самой ее. Но когда, напротив, по собственному чувству отвращения, он стал избегать мадам Воже, тогда как будто назло ей он рад был присутствию Юлии Павловны и почти не отходил от нее - то предлагал мотать ей шерсть, то предлагал читать ей книгу, то звал ее играть с собой в пикет.

Подобные небольшие перемены погоды в отношениях между обычными членами семейства никому не заметны, потому что на них не обращает никто внимания. Нет опасения, нет и стражи. Никто в доме, так сказать, и не чувствовал уклонения четырнадцатилетнего Георгия от ласки Юлии Павловны; только она несколько заметила, потому что это до нее касалось и потому что она любила детей подруги своей молодости, с которой некогда, мечтая о замужестве и о будущем, условились - если Бог даст детей - породниться. Оставшись навек заштатной девой, она любила Георгия, как жениха воображаемой своей дочери.

Часто в беседах с Любовью Яковлевной она вдруг прослезится и начинает жаловаться на свою судьбу, что Виктор Андреевич (предмет ее первой и последней любви) непременно женился бы на ней, если б ее папенька принимал его ласково в дом.

- Пришла же охота горевать Бог знает о чем! - говорила ей всегда Любовь Яковлевна.

- Да, хорошо тебе, как ты замужем! - всегда отвечала с укором Юлия Павловна.

- Что ж, счастлива ли я?

- Ты хоть чем-нибудь счастлива: у тебя дети. Какое же еще нужно счастье?

- Какое? - произносила вздыхая Любовь Яковлевна, - Э-хе-хе! Не знаешь ты горя, так надо его выкопать из-под спуду! Да добро бы это верно было, что Виктор Андреевич женился бы на тебе... А то, Бог знает, и думал ли он...

- Нет уж, очень думал! - возражало обиженное самолюбие Юлии Павловны. - Я знаю, что думал! Охота бы ему набиваться на знакомство в доме? И лучше нашего дома нашел бы, да не

хотел. Стало быть - было намерение! Да и я, как будто такая еще дура была, что не могла понять намерения человека. Вольно ж было папеньке отучить его от дому. Это ужасно! Потому что молодой человек, так и никакого внимания не должно оказывать?! Только и компании что старики... Поневоле останешься в девках!

- Правда, что отец твой очень мало в этом случае был расчетлив.

- Да как же! У меня бы теперь непременно была дочь, Людмила - невеста твоему Георгию... Помнишь, ты сказала: «У меня непременно будет первый ребенок - сын Георгий». Ты сдержала свое слово; а я... - Тут Юлия Павловна принималась проливать слезы.

Вот история ее отношений и ласк к Георгию.

Когда после долговременного невнимания Георгий вдруг стал садиться подле Юлии Павловны, разговаривать с ней, ходить по саду, прислуживать и, словом, находить около нее уют от преследований мадам Воже, тогда в мадам Воже заговорило чувство исступленной ревности. А Юлия Павловна, замечая, что Георгий угождает ей, почти не обходит от нее, вообразила, что он в нее влюбился.

«Ах, Боже мой, - думала она, - неужели в нем так рано развилось чувство любви?» Надо заметить, что Юлия Павловна провела свою молодость со старым суровым отцом, и сроду не случалось ей испытать на себе, как любят мужчины и как волочатся за девушкой; рассказы и женские *поверья* не составляют опытности. Она была вполне невинна и душой и телом; но часто мысль о любви тревожила, томила ее, как жажда; ей хотелось любить. Внезапное внимание Георгия и желание его быть с нею поразило ее своею новостью, тем более что в продолжение двух лет равнодушия он вырос и далеко ушел от того Георгия, которого она на четырнадцатом году возраста миловала еще как ребенка.

«Боже мой, Боже мой! - думала она, - это удивительно! Каким же это образом вдруг такой неожиданный переворот? Он только и находит удовольствия что быть со мною. Кажется, мадам Воже это заметила - она так странно смотрит, улыбается, когда застанет Георгия со мною; а он поминутно краснеет. Теперь только начинаю я все припоминать: он, верно, давно влюблен в меня, и скрывал, боялся, чтоб не заметили этого, и убежал от меня? Точно! Припоминаю: он вдруг переменялся ко мне; я этого тогда не поняла; но, наконец, страсть развилась в нем. Бедный Георгий! Ах, это предназначение! Сердце его ищет во мне Людмилу... Когда он смотрит на меня, мне кажется, что глаза его говорят: подай мне дочь свою, мою суженую Людмилу, или я влюблюсь в тебя!» Чем более Юлия Павловна думала, тем более убеждалась, что Георгий влюблен в нее, и ей стало страшно.

После этого открытия при первой встрече с Георгием она вспыхнула, не знала что говорить, чувствовала неловкость, боялась с ним остаться наедине, краснела, когда мадам Воже входила в комнату, и, наконец, не зная, как скрыть свое смущение, ушла домой, жалуясь на головную боль.

Постоянно веселое расположение духа Юлии Павловны вдруг исчезло. Бывало, с восстанием от сна до сна грядущего она языка не положит, всех в городе обойдет рундом, справится о здоровье и о делах каждого, изведает всю подноготную - кто как думает, что говорит, что все думают и говорят об этом, и как бы она думала; словом, соберет преинтересную журнальную статью и издает ее изустно в свет. Несмотря на строгий критический взгляд на предметы, ее все любили, особенно Любовь Яковлевна, и по старой дружбе и по удовольствию разделять с ней свое время.

Состояние ее заключалось в оставшемся после отца небольшом домике, который она отдавала внаймы, занимая сама мезонин. Небольшого дохода с дома ей было очень достаточно, тем более что она, можно сказать, постоянно жила у Любви Яковлевны; Любовь Яковлевна не могла без нее дня провести.

Когда роковая тайна сердца Георгия заставила Юлию Павловну уйти домой, друг ее перед вечером прислала к ней проведать о здоровье и просить к себе. Но Юлия Павловна как изнеможенная лежала уже в постели - ее пожирала сладостные и горестные думы о любви Георгия.

Старушка Ивановна ужасно как надоела ей - не дает ни минуты уединения, все пристаёт, чтоб она выпила хоть чашечку липового цвету.

- Да выкушайте, барышня, пропотеете немножко, и все пройдет. Уж я вижу, что у вас лихорадка, верно простудились как-нибудь. Вчера ввечеру сыренько было, а вы, верно, в саду чай пили... Да выкушайте же, барышня! Как рукой снимет; а то - избави Бог - привяжется...

- Да отстань, Ивановна! Сказала, что не буду пить! Дай мне спокойно полежать, поди себе!

- То-то и есть, что вы упрямы стали, а уж это худой знак!

Чтоб отделаться от Ивановны, Юлия Павловна должна была притвориться спящею.

Но она забылась только перед светом. Сон ее был страшен: ей снилось, что снова отец и мать лелеют ее юность, и она не отходит от зеркала, все любит свою красоту и наряд невесты. Вдруг является молодой человек, ее жених - это Георгий... Она хочет подойти к нему, но отец, в образе мадам Воже, говорит вдруг: «Позвольте! Что это значит? Извольте садиться по углам!» Бедная Юлия садится в угол, со слезами украдкой смотрит на сидящего в другом углу Георгия и терзается всеми мучениями страшной разлуки. Но мать сжалась над дочерью, и в то время, как отец отвернулся, берет руки Юлии и Георгия и соединяет их. «Позвольте, это что такое?» - восклицает отец. - «Молодые», - отвечает мать. «А, это дело другое», - говорит отец и предлагает Георгию понюхать табачку. Георгий отказывается, уверяет, что не нюхает; но Юлия Павловна шепчет ему: «Понюхай, друг мой, не отказывайся, а не то папенька рассердится и выживет тебя из дому!» Георгий нюхает. «Вот люблю, - говорит отец, - люблю покорность! Если есть нос, отчего ж не понюхать, особенно когда старшие предлагают?!». Между тем собираются со всех сторон гости и поздравляют Юлию Павловну с счастливым вступлением в брак. Начинаются танцы с котильона, - молодые танцуют вместе и в то же время поминутно выбирают друг друга. Юлия Павловна счастлива, носится по воздуху. Георгий то и дело подходит ее ангажировать. После танцев наступает внезапно ночь. Юлия Павловна боится потерять Георгия, крепко держит его в объятиях и с нетерпением ждет рассвета. Вот рассветает. Рассветло; Юлия Павловна смотрит - на руках у нее не Георгий, но прелестная девушка, совершенное подобие Георгия... точно как Георгий, переодетый в женское платье.

- Ах, Боже мой, я тебя не узнала! - говорит Юлия Павловна, целуя девушку.

- Неужели, маменька, не узнали? Свою Людмилу не узнали?

- Людмила! - с содроганием повторяет Юлия Павловна, - а где же Георгий?

- Он дома, я сейчас была у Любви Яковлевны.

- Вы виделись? - вскрикивает Юлия Павловна.

- Виделись.

- О, Боже мой, что я сделала! зачем я дала клятву Любеньке утвердить нашу дружбу союзом Людмилы с Георгием! Нет, этого не может быть!

- Как, маменька, вы сами желали...

- Нет, нет, нет! Этого не может быть!

- Да почему же, маменька? Я умру, - сказала Людмила, залившись слезами.

- Лучше умри! Этого не может быть!

- Да почему же? Маменька, душенька!

- Это тайна, страшная тайна!

И Юлия Павловна, всплеснув руками, бежит к Любви Яковлевне; Людмила бежит вслед за нею. Вот прибежали в дом. Любовь Яковлевна и Георгий бегут навстречу им. Георгий бросается в объятия Людмилы, а Любовь Яковлевна обнимает, целует без памяти Юлию Павловну.

- Пусти, пусти меня, я не согласна! Этого не может быть! - кричит Юлия Павловна, вырываясь из объятий, но не в силах вырваться; Любовь Яковлевна оковала ее руками; а между тем Георгий целует, обнимает Людмилу.

- О, пусти, союз их не может состояться! Прочь, Георгий, от Людмилы!

- Как прочь? - говорит Любовь Яковлевна, - Это почему? А клятва..?

- Этого не может быть!

- Почему не может быть?

- Это страшная тайна! Пусти меня! Они уйдут! Они уходят... Георгий! Георгий! Людмила - дочь твоя! Они ушли! О, я погибла...

Юлия Павловна вырвалась из объятий Любви Яковлевны, хочет бежать за Георгием и Людмилой; но ноги ей не служат, и она падает на колени перед матерью Георгия и умоляет догнать его, вырвать из объятий Людмилы.

- Догони, догони! - повторяет она, ползая на коленях пред нею, - я тебе все открою: твой Георгий - муж мой! Людмила - дочь его!

- Матушка, барышня, что с тобой? - кричит Ивановна, вбегая в комнату Юлии Павловны и обхватив ее руками.

- О, пусти, я сама умру; только догони их, догони! - повторяет в бреду Юлия Павловна.

Ивановна плачет над ней.

- Говорила я, чтоб выпить липового цветку. Вот и горячка... Барышня! Голубушка!

Юлия Павловна вздохнула, очнулась; холодный пот покатился по лицу ее, мутный взор ходит кругом.

- Что с тобой, барышня? Вот, в озноб теперь кинуло!

Юлия Павловна зарыдала.

Утолив безотчетное свое горе слезами, она поуспокоилась; и наконец, после долгой думы, взор ее просветлел. «Какие пустяки забрала я себе в голову, - думала она, увлекаемая желанием по привычке отправиться к Любви Яковлевне, - право, сама не знаю, чего я испугалась; ну что за беда, что ребенок любит меня? Я сама его люблю, как своего родного сына... Я уверена, что ему надоела эта мадам Воже с своим французским языком. Только и разговоров что про грамматику! Не удивительно, что он стал бегать от этой грамматики. Со мной все-таки о чем-нибудь можно поговорить. Молодому человеку необходимо рассеяние».

Поток этих успокоительных мыслей остановлен был присылкою от Любви Яковлевны узнать о здоровье и просить к себе. Человек вошел так неожиданно и так крикнул, что Юлия Павловна вздрогнула с испугом, и в ней задрожали все жилки.

- Не могу, не могу, - проговорила она, - кланяйся Любви Яковлевне.

Человек ушел; а Юлия Павловна, успокоясь, подумала; «Для чего ж это я наклепала на себя лихорадку? Смех какой, испугалась человека! Я пойду». И она, полная мыслей о глупости, которая пришла ей в голову, надела, не замечая того сама, новенькое платье с шитой пелеринкой и, стоя перед зеркалом, десять раз передельывала прическу волос.

Вдруг входит Георгий. Юлия Павловна так и обмерла, завитые локоны распустились от страху.

- Ах, Юлия Павловна, - сказал Георгий, целуя по обычаю ее ручку, - а мы думали, что вы в постели!

- Да, я очень нездорова, Георгий, - проговорила Юлия Павловна, взволнованная новою неожиданностью. Она не могла докончить, села, держась за руку Георгия.

Георгий сел подле нее.

- Слабость такая... всего пугаюсь... Я не знаю, что со мной делается.

И Юлия Павловна заплакала; Георгий придержал ей голову, которая клонилась и наконец припала на плечо юноши.

- Что с вами, Юлия Павловна? - сказал он с чувством.

Юлия Павловна еще сильнее зарыдала.

Любовь Яковлевна, рассердясь на человека, который возвратился от Юлии Павловны и не мог сказать, чем она больна, хотела послать его в другой раз.

- Позвольте, я сам схожу, маменька, - вызвался Георгий и побежал к Юлии Павловне.

Это слышала мадам Воже. В ней страшно уже кипело чувство ревности. Подозревая условленное свидание, она не вытерпела.

- Бедной Юлией Павловна больна, очень больна, - сказала она, - и я пойду сама к ней.

- Сходите навестите ее, мадам Воже.

Мадам Воже хотелось застать любовников врасплох. Торопливо дошла она до дому Юлии Павловны. Тихонько прокралась в сени, на лестницу, приотворила двери в переднюю - все тихо. Подле, в кухоньке, никого нет - Ивановна ушла на базар. Тихонько приотворила дверь в гостиную, пробирается на цыпочках, заглянула в спальню и вместе уборную - тишина. Но какая картина для нее: безмолвно сидит Георгий на канаве, к плечу его припала головою Юлия Павловна, глаза ее закрыты, она, казалось, сладко забылась после горьких слез, локоны ее распались, щеки горят, наряд совсем не говорит в пользу болезни.

- Bravo, bravo, Юлией Павловна, у вас прекрасной болезнь! - вскричала мадам Воже, вбежав в комнату с злобной радостью. - Мосьё доктёр у вас очень хорошей, очень хорошей!

Это был третий внезапный приход для Юлии Павловны; она вскрикнула и упала без памяти.

- Вы испугали ее! - вскричал Георгий, бросившись помогать Юлии Павловне.

- Monsieur le docteur, извольте идти домой! - сказала мадам Воже гордо, указывая Георгию двери.

- Что?! - проговорил Георгий с презрением.

- Monsieur George, я вам приказываю!

- Прочь! - крикнул Георгий, оттолкнув мадам Воже, которая схватила его за руку.

- Дерзкой мальчишка! Я пойду все рассказать отцу и матери!

- Иди, рассказывай, я сам все расскажу! Все, дочиста!

- Георгий, извольте идти домой! - закричала во весь голос Воже. И она, как демон, иступленно, бросилась на беспамятную Юлию Павловну. Но Георгий, обхватив ее, вытащил за двери, вытолкнул и припер их.

- Постой же, мальчишка! - вскричала мадам Воже, погрозив в дверь кулаком. Бегом побежала она домой, скрежеща зубами.

- Что вы бежите как сумасшедшая, мадам Воже? - спросил Филипп Савич, сидевший у открытого окна, видя ее бегущую мимо дому с разъяренным лицом.

- Я вам скажу... я вам скажу..! - вскричала мадам Воже.

«Что там такое? - подумал Филипп Савич, выходя навстречу в залу, - где ж она?» В нетерпении узнать причину, он пошел через сени в комнату гувернантки, но раздавшиеся слова на крыльце остановили его.

- Ах, старая чертовка, да ведь она околевает!

- Кто околевает? - спросил равнодушно Филипп Савич у вбегающей в сени девки.

- Мадам, сударь, убила до смерти.

- Что-о? Какая мадам?

- Наша, сударь, убила до смерти! Вон - лежит у ворот.

Филипп Савич вышел на двор. В воротах лежала распростертая на земле мадам Воже - без дыхания, с раскрытым лбом, пена бьет изо рта. Вся дворня и народ, собравшийся с улицы, стояли около нее.

- Что это с ней случилось? - спросил Филипп Савич.

- Прах ее знает, - отвечал один купец, - подхожу я к воротам вашего благородия, смотрю - бежит она, да что-то бормочет по-своему, да, словно слепая; как хватится в воротах об запор! Так - как сноп - и свалилась... ни словечка не молвила!

- Какой запор?

- А что ворота запирают, - отвечал конюх: - вы изволили приказать пустить вороную по двору, на травку - так, чтоб не ушла со двора, я и засунул запор, чем ворота-то совсем запирают.

- Дурак! Для чего ты не запер ворота? - вскричал Филипп Савич.

- Да как же проходить-то, сударь? У калитки еще зимой петли сломались, так ее покуда заколотили... Я докладывал тогда еще.

- Когда докладывал? Врешь.

- Как же, сударь, раза три докладывал. А вы ничего не изволили сказать.

- Врешь!

Филипп Савич не любил выдавать деньги на разные требования своих людей, - он подозревал, что эти мошенники нарочно сломают да скажут - втридорога стоит починка, чтоб выгадать себе на вино. Посылать людей своих за кузнецами, плотниками, слесарями он также не любил, подозревая, что они сговорятся и обманут его. А потому он всегда ждал поры и времени, когда накопится в доме порчи и ломы, и тогда подряжал сам починку гуртом. За этот, с позволения сказать, скаредный расчет он платил за все не втридорога, а вдесятеро: потому что искру тушить не то что пожар.

Между тем как Филипп Савич спорил с кучером о петлях калитки, мадам Воже лежала на земле. Любовь Яковлевна и Георгий стояли также над ней с ужасом. Наконец ее внесли в ее комнату, призвали медика, который застал ее уже в сильном бреду горячки; выпучив глаза, она лезла с постели и, уставив пальцы, как когти, скрежетала зубами. Она была страшна.

Георгий рассказал матери, как она напугала Юлию Павловну, и Любовь Яковлевна подтвердила его мнение, что болезнь в ней давно уже скрывалась и что она только в беспмятстве могла удариться о перекладину.

- Я ее дома лечить не намерен! - говорил Филипп Савич. - Черт с ней! Пусть в больнице умирает.

- Помилуй, друг мой, за что ж мы бросим бедную женщину, которая у нас как своя в доме уже несколько лет? - говорила чувствительная Любовь Яковлевна.

- Вот тебе раз! Я нанимал ее для того, чтоб учить детей; а она тут больная лежать будет?! Мне что за дело, что она больна! Сама ты говорила, что у ней горячка поутру была. Объялась, я думаю, чего-нибудь. Я видел сам, как она бежала с пеной у рта! Какая это горячка, она просто сошла с ума...

Убеждения Любви Яковлевны лечить больную дома не подействовали на Филиппа Савича, он отправил ее в Киев, в больницу. Чем она кончила свои похождения - умерла, больна ли по сию пору, или выздоровела и отправилась в отчизну свою, Францию, - Бог с ней, не наше дело. Она, как говорится по-турецки, пришла-ушла. А между тем это имело большое влияние на судьбу героев нашего сказания.

Так как для двенадцатилетней дочери Любви Яковлевны нужна была еще мадам, и еще такая мадам, которая бы, кроме французского языка, учила ее и на фортепьянах играть, а если можно, и петь, то Филипп Савич, отправляясь на контракты в Киев, решился - более по просьбе дочери, нежели матери ее - приискать сам потребную мадам. Хотя он считал французское воспитание, по польскому выражению, непотребным...

(Продолжение следует)

Александр Фомич Вельтман.



Перехожу от казни к казни  
Широкой полосой огня.  
Ты только невозможным дразнишь,  
Немыслимым томишь меня...  
И я, как тёмный раб, не смею  
В огне и мраке потонуть.  
Я только робкой тенью вею,  
Не смея в небо заглянуть...  
Как ветер, ты целуешь жадно,  
Как осень, шлейфом шелестя,  
Храня в темнице безотрадной,  
Меня, как бедное дитя...  
Рабом безумным и покорным  
До времени таюсь и жду  
Под этим взором, слишком чёрным  
В моём пылающем бреде...  
Лишь утром смею покидать я  
Твоё высокое крыльцо,  
А ночью тонет в складках платья  
Моё безумное лицо...  
Лишь утром воронам бросаю  
Свой хмель, свой сон, свою мечту...  
А ночью снова - знаю, знаю  
Твою земную красоту!  
Что быть бесстрастным? Что - крылатым?  
Сто раз бичуй и укори,  
Чтоб только быть на миг проклятым  
С тобой - в огне ночной зари!

Октябрь 1907 А. Блок.



Научитесь не замечать людей, которым Вы не нравитесь. Потому, что люди, которым Вы не нравитесь бывают двух типов: это либо глупцы, либо завистники. Глупцы через год Вас полюбят, а завистники сдохнут, так и не узнав секрет Вашего превосходства над ними. Джон Уилму.



## ЛУННАЯ ГРУСТЬ

Я люблю свою грусть о тебе,  
С ее странно-туманящей властью.  
Грусть о прошлом несбывшемся сне,  
О каком-то несбывшемся счастье.

Я люблю с ней бродить в тишине  
По дорожкам уснувшего сада,  
Когда звезды блещут в вышине  
И ночная вздыхает прохлада...

И, невидимый в чаще кустов,  
Хор сверчков мне поет серенады...  
И, как-будто в молитве без слов,  
Светляки зажигают лампы.

А на том берегу огоньки  
Говорят о неведомых встречах,  
Отражаются в глади реки,  
Как венчальные строгие свечи.

Я люблю в тихий час быть одна,  
Когда все так пустынно и сиротливо,  
И блуждает в пространстве луна,  
Бледный призрак погасшего мира.

Л. Нелидова-Фивейская.

*Сначала она долго плакала,  
а потом стала злая.*  
Михаил Булгаков.

*Не бойтесь потерять того, кто не побоялся потерять вас.*



# Мария Всеволодовна Крестовская

(1862 - 1910 г)

## Ранние грозы

Продолжение (начало в № 60)

### ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

#### V



Наташа быстро развивалась; у нее никогда не было подруг и товарок-однолеток, ее единственной, но зато постоянною подругой была ее мать. Эта дружба со взрослым человеком невольно развила ее быстрее и приучила чувствовать и думать по-взрослому раньше, чем в большинстве случаев начинают другие дети.

Когда Наташа поступила в гимназию, то их образ жизни отчасти переменился. По вечерам больше рассказывала сама Наташа, а не Марья Сергеевна. Множество новых лиц и впечатлений охватили девочку. Ее все интересовало и занимало. В течение дня она замечала мельчайшие подробности своей новой гимназической жизни и вечером спешила делиться ими с матерью. Потом они вместе садились за уроки. В отношении Марьи Сергеевны Наташа была бессознательною деспоткой. В своей любви к матери она доходила до полного обожания, но зато и не хотела ни на минуту расставаться с ней. Куда бы мать ни шла, что бы она ни делала, Наташа непременно хотела "вместе". Даже свои вечерние уроки она хотела готовить непременно "вместе". "Мамочка, мы вместе", - просила она требовательным тоном избалованного ребенка, который знает наперед, что ему не откажут.

Марья Сергеевна, действительно, почти ни в чем не могла отказать ей; и если бы к девочке не перешла по наследству кротость матери и спокойная твердость отца, то мать, вероятно, скоро бы испортила ребенка. Наташа была для нее маленьким кумиром, ее жизнью, ее прелестным деспотом, подчиняться которому ей, в сущности, даже нравилось. Женщины не умеют и почти не могут жить без этих "слепых" привязанностей, из которых они делают себе богов и деспотов. Им нужно боготворить и подчиняться, и если они не сделают себе такого кумира из мужа, то делают его из ребенка, иногда даже из братьев или отца, смотря по тому, кто есть и кого жизнь ставит в более или менее подходящие для этого условия.

Жизнь Марьи Сергеевны почти с первых дней молодости сложилась не только спокойно и безмятежно, но даже немного монотонно. В семнадцать лет она вышла замуж за Павла Петровича, которому тогда было около тридцати пяти. Была ли она влюблена в своего будущего мужа, это она понимала довольно смутно, и в то время дать себе в этом отчет не сумела бы. Но он ей нравился и, что порой имеет еще большее значение, нравился окружающим ее. Ей все говорили, что она делает прекрасную партию. Павел Петрович имел хорошее положение и средства, был еще молод, очень представительен и пользовался отличною репутацией.

Если бы судьба столкнула его с более пожившею женщиной, чем была тогда его жена, то, вероятно, такая женщина полюбила бы его глубже, нежели была способна на то семнадцатилетняя девочка. У женщины, много пережившей и страдавшей в прошлом, рождается и более мощное чувство, чем у наивной девочки. К тому же для каждого возраста женщины есть свой излюбленный тип мужчины, а Павел Петрович, с его холодною сдержанностью, спокойною рассудительностью и немоложавою наружностью, всего менее мог увлечь воображение своей семнадцатилетней невесты.

Будь у нее натура более пылкая, Манечка, вероятно, не замедлила бы влюбиться хотя бы в своего кузена, красивого кавалергарда, с которым так любила танцевать. Но молоденькая Манечка до такой степени еще не сформировалась, что ее натуру даже предсказать было очень трудно. Она вся была еще в будущем. Во всяком случае в то время это была миленькая, очень благовоспитанная барышня, скорее застенчивая, чем бойкая. Не очень худенькая, но и не полная, с хорошо посаженною на не округлившимся, еще полудетских плечах, грациозною головкой, больше миловидною, чем красивою. Хороши были только глаза: большие, темные, вечно

переливающиеся, какого-то неопределенного цвета, но чаще всего великолепного синего отлива. Эти глаза сияли детскою чистотой и несложностью ясной, непорочной мысли...

Марья Сергеевна была сиротой и жила у своего опекуна-дяди, а потому даже и родственно не была ни к кому особенно горячо привязана. Она, конечно, любила родню дяди, но не так, как любила бы родную мать или отца. Выйдя замуж, она инстинктом поняла, какого надежного, безгранично, хотя и спокойно, любящего друга приобрела она в муже. Чем больше узнавала она его душу, ум, характер, тем больше начинала ценить и уважать его. Через год она была уверена, что более умного, великодушного и честного человека трудно найти. Раз она могла это понять, влюбиться в него, как часто влюбляются молоденькие жены в своих мужей уже по выходе замуж, было бы нетрудно, найди она в нем самом больше для этого причин. Но обстоятельства сложились иначе. Павел Петрович был прекрасный муж - и плохой любовник. В нем не было ни тех порывов, которые так нравятся женщинам, ни даже особенной страстности в характере.

Если бы он, хоть шутя, увлекся бы другою, в ней, наверное, проснулась бы вся страсть влюбленной женщины. Женщинам нравится страдание, причиняемое им любовью, и чем мужчина больше причиняет им этих страданий, тем больше и страстнее любят они его. Но Павел Петрович для подобных отношений был и слишком хороший муж, и слишком занятой человек. Ему и в голову не приходило, что такой натуре, как его жена, необходимы были время от времени сильные впечатления, и что чем дольше будет дремать эта, в сущности, страстная натура, тем с большею силой прорвется она когда-нибудь наружу.

Давай Павел Петрович своей жене хоть временами возможность этих ощущений посредством ревности к ней, ревности к нему, временного охлаждения и просыпающихся потом с новою силой порывов страстной любви, вся сила чувства, дремавшего в Марье Сергеевне, разменялась бы на эти мелочи, и они благополучно миновали бы опасное время молодости, жаждущей бурь, и дожили бы, наконец, до того предела, когда ничто уже не опасно, потому что мало-помалу все страсти замирают и успокаиваются в человеке, уступая дорогу старости. К сожалению, Павел Петрович заботился только о том, чтобы окружить жену комфортом и полным спокойствием, которого желал и искал сам - он пережил уже свои бури.

В глубине души сама Марья Сергеевна всего менее подозревала, что ей нужно нечто подобное. Она находила своего мужа лучшим из людей и сознавала, что имеет все: и прекрасного мужа, и полное семейное счастье, и хорошие, вполне обеспеченные средства, словом, все, что требуется для беспечальной жизни, а потому совсем искренне считала себя одною из счастливейших женщин, и скажи ей кто-нибудь, что для обеспечения и продолжения ее семейного счастья нужно еще то-то и то-то, она первая вознегодовала бы и назвала бы это ложью. Зато весь запас нежности и страстности она перенесла на ребенка...

В своем тихом и безмятежном спокойствии Марья Сергеевна с годами расцветала все пышнее, красивее, и к тридцати годам миленькая девушка превратилась постепенно в красавицу. В чем именно заключалась ее красота, сказать было трудно. Она вся расцвела ровно, красиво, изящно. За последнее время Марья Сергеевна инстинктом женщины начала чувствовать в словах, взглядах и ухаживаниях мужчин что-то совсем новое... Иногда, поймав на себе жадный взгляд мужских глаз, она вспыхивала и невольным движением поправляла тонкое кружево на груди бального платья. Эти взгляды если не пугали и не смущали ее, то, во всяком случае, как-то странно удивляли и тревожили. Да и в самой себе она стала замечать что-то новое, странное. Часто, взглянув в зеркало, она несколько секунд не сводила с него любопытных синих глаз. Иногда, причесываясь или одеваясь перед зеркалом, Марья Сергеевна с довольною и слегка удивленною улыбкой всматривалась в свое лицо. Она смутно припоминала себя худенькою девушкой в кисейном платьице и почти не узнавала себя в этой красивой фигуре, отражавшейся в ее зеркале. Мало обращавшая прежде внимания на костюмы, она, с некоторых пор, стала вдруг очень любить нарядные туалеты. Чем красивее становилась она, тем больше проявлялось в ней почти бессознательное желание быть еще интереснее и лучше. Хорошенькая женщина всегда немножко влюблена в свое лицо.

В дни молодости Марья Сергеевна не очень любила выезжать; она чувствовала себя для этого слишком застенчивою и молчаливою. Дома ей нравилось больше; тут ей было свободнее и легче. Бальные костюмы стесняли ее, и она не умела даже придумывать их. К ее гладенькой головке простые домашние платья шли гораздо больше. Выезжая иногда в бальном туалете с открытою шеей и руками, она чувствовала себя такою неловкою, точно связанною, и всегда старалась спрятаться где-нибудь в кружке старушек. Но с годами у нее появился навык и вкус. Мало-помалу она приучилась не теряться в большом обществе, и хотя не перестала быть все

еще молчаливою, но на лице ее, вместо детски-застенчивого, явилось спокойное, несколько горделивое выражение светской женщины, привыкшей уже и к толпе, и к умению держать себя перед этой толпой. Бальные туалеты уже не стесняли ее - напротив, чувствуя себя в них особенно интересно, она даже слегка оживлялась и делалась развязнее. Раз она явилась на вечер в прелестном белом платье с желтыми розами у кружевного корсажа. Оно очень шло ей, и все ей говорили, что она замечательно интересна; многие даже не сразу узнавали ее. Это забавляло ее. И она улыбалась довольною улыбкой красивой женщины, сознающей, что она нравится и что на нее поминутно обращаются восхищенные взгляды.

Женщины любят возбуждать внимание. С этих пор она стала относиться с большею внимательностью к своим нарядам. Ей нравилось быть интересною, и она уже внимательнее выбирала цвета и фасоны платьев, шляп и тому подобных вещей. Постепенно у нее развился вкус, она изучила свое лицо и фигуру и прекрасно знала, что ей больше идет. Даже домашние платья она отделявала с большей обдуманностью и тщательностью. Иногда, оставаясь дома, но одевшись более удачно и находя себя особенно красивою и изящною, Марья Сергеевна невольно чувствовала сожаление (присущее исключительно женщинам), что ее никто не видит. Если женщина чувствует себя очень интересною, а любоваться ею некому, ей всегда делается немножко досадно и как-то скучно. Тогда невольно рождается желание "показаться", очутиться где-нибудь в толпе, все равно - на улице ли, в театре ли, на вечере ли - только в обществе, где бы она чувствовала, что на нее смотрят и любят ее. Правда, иногда они довольствуются только одним ценителем, наряжаются только для одного и дорожат мнением только этого одного. Но тогда этот один заменяет для них все общество.

Марья Сергеевна была еще одною из серьезных женщин; вопросы выездов, туалетов, общества, развивающиеся у некоторых из ее сестер до грандиозных размеров, ей не казались еще очень важными и необходимыми. Но, во-первых, у нее было слишком много свободного времени. Наташа поступила в гимназию, и ребенок уже не мог наполнять своею жизнью весь досуг матери. Часы, которые она привыкла проводить с дочерью, оставались теперь свободными, и порой она не знала, чем их заполнить. Заняться хозяйством? Но хозяйство давно уже было заведено раз навсегда, задержек в деньгах не было, волноваться, мудрить и выпутываться из разных мелких житейских дряг не приходилось. Шить, вязать, читать... Первое она не особенно любила, притом оно оставляло полный простор мысли, а значит, и скуке. Читать Марья Сергеевна всегда любила, только чтение с некоторых пор как-то странно действовало на нее. Часто говорилось о многом, чего она никогда не испытала и не знала. Иногда страстная любовь какой-нибудь героини, описание какой-нибудь сцены точно заражали ее самое любопытством и желанием чего-то, никогда еще не бывшего в ее собственной жизни.

Марья Сергеевна никогда не любила. Не любила тою страстью, сполна захватывающей любовью, запас и потребность в которой всегда таятся в глубине души каждой женщины. Читая теперь что-нибудь, слушая иногда рассказы и признания собственных подруг, Марья Сергеевна испытывала какое-то странное чувство... точно зависть. С нею самой никогда не бывало ничего подобного. Она еще никогда не слыхала страстного шепота любви. Такой любви, какую ей приходилось наблюдать у других, о которой она инстинктивно догадывалась и которой бессознательно желала. Раз, читая какую-то вещь, она вдруг на половине страницы отбросила книгу с какою-то злостью в самый угол комнаты и порывисто вскочила с дивана. Лицо ее горело горячими пятнами, и сердце усиленно билось. Она подошла к зеркалу, прикладывая холодные пальцы рук к пылающим щекам, и остановилась перед ним, глядя на себя рассеянным взглядом. Несколько мгновений она стояла молча, ломая свои холодные руки, грудь ее тяжело поднималась, сердце билось все чаще и чаще, в горле щекотал какой-то сухой, судорожный спазм, и вдруг, разом опустившись на маленький табуретик перед туалетом, она беспомощно уронила руки на стол и, прикинув к ним воспаленною головой, разразилась неудержимым рыданием...

О чем она рыдала? Что ей нужно, чего недостает? Она и сама не знала, ее томила какая-то безотчетная тоска. Когда она, наконец, успокоилась, ей стало совестно этих беспричинных, глупых слез. Ее смущали и заботили эти странные порывы, и, усердно стараясь подавить их в себе, она тщательно скрывала их от мужа и дочери. Ей было неприятно, что кто-нибудь из них мог заметить это, она даже чувствовала себя точно в чем-то виновною перед ними, хотя определить суть своей вины не могла. Во всяком случае, она решила бороться сама с собой и не поддаваться этим "глупостям".

Павел Петрович ничего подобного не замечал. Его дела на службе шли прекрасно, повышение за повышением, но зато прибавлялось и работы. Заниматься приходилось не только днем, но и по вечерам; иногда он просиживал за своими бумагами до глубокой ночи. Внутрен-

ний мир жены с его душевной работой и ломкой ускользал от его внимания. Он видел только, что Мари всегда весела, спокойна, прекрасно одета, и, по-видимому, очень счастлива. Придавать же особенное значение ярким пятнам на ее щеках и рассеянному выражению странно блестящих глаз ему не приходило даже и в голову.

Преобразование Марьи Сергеевны из застенчивой домоседки в светскую женщину свершилось так постепенно, что его не заметил не только Павел Петрович, но даже и сама Марья Сергеевна, часто с недоумением старавшаяся припомнить, когда в ней "это" началось.

Одна Наташа угадывала что-то новое в своей матери, но и то больше детским чутьем, чем сознанием.

- Mamочka, ты сегодня опять куда-нибудь едешь? - спрашивала она за обедом.

- Да, в оперу.

Сначала Наташа выражала очень мало удовольствия по поводу частых выездов матери, но мало-помалу и она к ним привыкла.

- Ну хорошо, я буду смотреть, как ты станешь одеваться. Хорошо?

Для Наташи смотреть, как одевается мама, было "ужасным" наслаждением. Она забиралась на большое кресло подле туалета и, усаживаясь там с ногами, обхватывала руками согнутые колени и, прижавшись к ним подбородком, смотрела на мать восхищенными глазами, внимательно следя в то же время и за горничную, помогавшую Марье Сергеевне одеваться. Изредка она кидала с заботливым видом отрывистые фразы:

- Тюник криво... Цветок лучше налево... Поправь вон тот локон...

Наконец туалет заканчивался. Наташа соскакивала с кресла и, схватив канделябры со свечами, делала матери последний "инспекторский" смотр.

- Отлично, мамочка! - радостно восхищалась она. - Восторг, как хорошо, мамочка, красота моя, прелесть!

Ей ужасно хотелось бы расцеловать матери каждый "кусочек", как она говорила, но, боясь смять прическу и платье, она выдерживала характер и ограничивалась только прыганьем и хлопаньем в ладоши.

Марья Сергеевна молча стояла перед ней, застегивая перчатки, нарядная, благоухающая, прелестная и невольно улыбающаяся и своей дочери, и своей красоте. Феня приносила мягкий темно-пунцовый шарф и пушистую, на белом меху, ротонду. Вместе с Наташей они старательно укутывали Марью Сергеевну. Тогда начиналось прощанье. Им всегда было трудно сразу расстаться друг с другом.

- Ну, будь же умница, девчурка! - говорила каждый раз по старой привычке Марья Сергеевна своей дочери. - Если захочешь кушать, спроси у Фени: там, в буфете, я оставила тебе рябчика и сладкого пирога.

В случае если Павел Петрович был дома и не сопровождал жену, она каждый раз заходила проститься к нему в кабинет. Наташа выбегала вслед за матерью в переднюю.

- Кланяйся Ольге Владимировне и Кате.

- Хорошо, деточка!

- Ну, прощай, мумуличка моя, смотри, пожалуйста, не распахивайся в карете и не опускай окна, да смотри, мамочка, не выходи потная на лестницу, опять горло прихватит! - наказывала она с видом заботливой маменьки, отпускающей дочку на бал.

- Ну, прощай, Христос с тобой!

- Прощай, веселись хорошенько.

Феня отворяла дверь на ярко освещенную парадную лестницу, и Наташа выбегала на площадку.

- Наташа, уйди, простудишься!

- Ах, нет, нет, тут тепло!

Она свешивалась через перила и глядела вслед матери, пока та спускалась.

- Mamочka, смотри, зайди, как вернешься! - кричала она, перегибаясь вниз. - Хорошо? Пожалуйста, я ждать буду.

Они кивали, улыбаясь, головами друг другу до тех пор, пока массивная дубовая дверь не захлопывалась за Марьей Сергеевной с протяжным стоном. После этого Наташа разом принимала серьезный вид взрослой барышни и озабоченно произносила:

- Ну-с, теперь заниматься!

Они вместе с Феней входили в переднюю. Феня запирала дверь на крюк.

- Кажется, ничего не забыли... Веер, перчатки, бинокль, платок... - перебирала Наташа, озабоченно считая на пальцах. - Все, кажется?

Феня удостоверилась, что все взято. Облегченно вздохнув, Наташа отправлялась в свою комнату за уроки.

Она была уже третий год в гимназии, и занятий прибавлялось с каждым годом. Училась Наташа очень прилежно, она была третья ученица, но ей непременно хотелось сделаться первой. По-своему она была очень честолюбива и горда, и потому почти весь вечер просиживала за учебниками. В этом она была очень похожа на отца. Он - к службе, она - к занятиям относились почти с одинаковою серьезностью и занимались ими с тем же упорством, вниманием и сосредоточенностью. В девять часов она выходила в столовую пить чай и встречалась там с Павлом Петровичем, если он был дома. С тех пор, как Марья Сергеевна стала чаще выезжать, Наташа проводила с отцом гораздо больше времени, чем прежде, и постепенно они сближались все больше и больше. По вечерам она часто приходила к нему в кабинет заниматься своими уроками. Ей очень нравилась эта строгая тишина отцовского кабинета, заставленного массивною, немного тяжелою мебелью. Наташа усаживалась напротив отца за огромным письменным столом, углубляясь в книгу так же сосредоточенно, как он в свои бумаги, и они сидели друг против друга с деловым видом, очень похожие один на другого, и только изредка, поднимая голову, обменивались торопливою улыбкой. Если она не понимала чего-нибудь в своих дробях или склонениях, он подходил, и, склонившись над ее темно-русою головкой, объяснял ей.

Когда Наташа рано кончала свои уроки, он давал ей сортировать или читать вслух некоторые его бумаги и газеты. Ей это ужасно нравилось, и она всегда торопилась покончить с уроками. Прежняя детская неловкость и натянутость в их отношениях совершенно исчезли. Он уже не старался подделываться под ее тон, не предлагал ей играть в прятки и не представлял больше ни медведей, ни буку. Они говорили друг с другом товарищеским тоном взрослых людей, и это нравилось и тому, и другому. Она рассказывала ему о своей гимназии, учителях, уроках; он сам не заметил, как начал делиться с нею рассказами о своей службе. Она читала ему газеты и доклады, перечитывала и сортировала его бумаги, и мало-помалу он привык говорить с ней о своих делах.

Ее раннее развитие порой даже удивляло его. Когда ему случалось увлечься и заговорить с ней о слишком уж не детских вопросах, Наташа выслушивала его с таким серьезным видом, делала порой такие дельные замечания, что он совсем забывал, что говорит с девочкой, которой едва минуло четырнадцать лет. Павел Петрович, скорее замкнутый, чем общительный со всеми другими, с Наташей был откровеннее, чем даже сознавал это сам.

Все свои разговоры они вели только наедине вечером в кабинете или в столовой за чаем. Марья Сергеевна даже и не подозревала об оригинальных отношениях, завязавшихся между мужем и дочерью. С нею Павел Петрович почти никогда не говорил ни о делах, ни о службе. Не то чтобы он считал жену неспособною понимать это, но так как этого не случилось вначале, то заводить с нею такие разговоры теперь ему не приходило уже в голову. Дочь в этом отношении была ему как-то ближе. Он чувствовал в ней свою натуру, свой склад ума, свой характер, и это невольно сближало его с нею. Наташа так искренне интересовалась всем, что интересовало его, так быстро и легко усваивала себе его мысли, вникала каким-то замечательно развитым в ней чутьем в его сферу и занятия, что, в конце концов, поняла более или менее весь ход его дел. Она всегда знала, какой доклад был на очереди, когда назначено было заседание и по каким вопросам, каких изменений и перемен ожидали в министерстве. Знала по именам всех министров и главных начальников, и даже, разговаривая с отцом, невольно перенимала и его выражения, и различные специальные термины.

Ее всегда немножко шокировало полнейшее неведение Марьи Сергеевны по этим вопросам, и если той случалось перепутать что-нибудь, когда разговор заходил о чем-нибудь подобном, Наташе так и хотелось прийти ей на помощь. Раз она даже не удержалась. К Марье Сергеевне приехала одна знакомая со своим мужем. Разговор коснулся одного из новых назначений. Марья Сергеевна слышала что-то, но помнила довольно смутно.

- Ах, да! - воскликнула она. - Говорят, N назначается министром юстиции!

- О, мама! - Наташа даже вся вспыхнула. - Министр юстиции и не думает уходить! N назначается на место С членом консультации при министерстве!

Несколько мгновений все трое молча, с удивлением глядели на эту девочку в коротеньком платье, с таким артом рассуждающую о смене министров.

- Это совершенно верно, - заговорил, наконец, муж гостьи с улыбкой, - но откуда наша маленькая барышня знает это?

Барышня вдруг вся покраснела и молчала с каким-то виноватым и сконфуженным видом. Она в первый раз проговорила о своем знании по этой части, и это испугало и рассердило ее.

Наташа бесконечно дорожила доверием отца и в душе очень гордилась и этим доверием, и своим посвящением в "государственные дела". Зато с этих пор она стала держать себя еще осторожнее, когда ей случалось слушать подобные разговоры.

Наташа ужасно любила пить чай по вечерам вдвоем с отцом. Столовая была такая уютная, вся залитая светом от спускавшейся с потолка над столом большой лампы. В углу топился, потрескивая и вспыхивая порой красным пламенем, камин. Наташа садилась за самовар и, принимая вид взрослой, начинала заваривать чай и перетирать чашки. За чаем отец с дочерью болтали всегда с особенным удовольствием. Иногда Павел Петрович смешил дочь, рассказывая ей что-нибудь, и теперь это удавалось ему гораздо лучше, чем прежде, когда он представлял ей буку. Наташа заливалась звонким смехом, запрокидывая назад голову, хохотала до слез и от восторга даже начинала болтать под столом ногами, как маленькая. Но в большинстве случаев Павел Петрович был чем-нибудь озабочен и чувствовал себя утомленным.

- Ну, что у вас нового? - спрашивала Наташа, намазывая тартинки и с аппетитом принимаясь за них.

Павел Петрович сначала отвечал односложно и даже неохотно, если был не в духе, но постепенно увлекался и начинал пересказывать даже разные мелочи. Наташа внимательно и с любопытством слушала его.

- А у нас в гимназии опять неприятности! - воскликнула она, вспоминая вдруг.

- А! Что такое?

- Целая история вышла.

И она с мельчайшими подробностями пересказывает ему историю. Ее дела, уроки и гимназия интересовали его так же, как ее - его служба, доклады и министры.

После чая они расходились по своим комнатам. Наташа брала книгу и укладывалась в постель. Она нарочно ложилась раньше, чтобы подольше почитать в постели, что ей очень нравилось. Читала она вообще очень много. В 11 часов она тушила свечу и, свернувшись как-нибудь поудобнее, сладко засыпала. Но едва раздавался звонок матери, Наташа тотчас просыпалась и, приподнимаясь на постели, с нетерпением глядела на дверь, в которую всегда входила Марья Сергеевна.

Легкие торопливые шаги женской походки слышались в гостиной, столовой и, наконец, в будуаре. Дверь несколько отворялась, пропуская Марью Сергеевну, и Наташа с восторженным криком бросалась к ней:

- Мамочка!

Мамочка входила, вся еще душистая, точно пропитанная атмосферой бальной залы, но в смятом уже слегка туалете, и горячо обнимала дочь.

- Ты что не спишь? - спрашивала она шепотом, точно боясь кого-то разбудить.

- Я спала, только услышала звонок и проснулась... Мамочка, милая!

Марья Сергеевна опускалась на кровать подле дочери, и они сидели так несколько мгновений, нежно прижимаясь одна к другой и молча целуясь. Дрожащий огонек синей лампы обливал мягким и трепетным светом эту белую комнатку и их тесно прижавшиеся друг к другу фигуры. Это были их лучшие минуты, им обоим было так хорошо: какое-то особенное чувство наполняло и умиляло их обеих. С отцом, как ни любила его Наташа, она никогда не испытывала таких минут полного наслаждения и даже некоторого блаженства. И, точно боясь нарушить чудное состояние, они начинали говорить шепотом.

- Тебе было весело, да? - шептала Наташа, влюбленно смотря на мать.

Марья Сергеевна молча кивала головой, отвечая дочери тем же полным нежности и любви взглядом своих прелестных глаз.

Наташа еще теснее прижималась к ней.

- А ты думала обо мне?

Тот же молчаливый кивок и та же ласковая улыбка.

- И за мазуркой, как я просила, да? Ах, мамочка, милая! Ненаглядная, красавица моя... - И она бросалась к матери, обвивала ее открытую шею своими руками и осыпала ее лицо, глаза, грудь и руки поцелуями.

Наташа была положительно влюблена в свою красавицу-мать. Она, как и в пять лет, оставалась для нее все тем же лучезарным кумиром, предметом страстного обожания. Марья Сергеевна всегда привозила дочери с бала какие-нибудь фрукты. Это был маленький знак внимания с ее стороны, как бы молчаливое, но наглядное доказательство, что она и там не забывала дочери. Наташа понимала это, и если Марья Сергеевна ничего не привозила, Наташа обижалась и раз даже горячо проплакала всю ночь.

- Ты забыла! - говорила она с упреком.

Но когда все обстояло благополучно, то, нацеловавшись вдоволь, Марья Сергеевна поднималась, наконец, с постели и несколько отстраняла дочь.

- Ну, прощай, спи спокойно! - говорила она, крестя Наташу.

Но Наташа начинала протестовать.

- Нет, нет, нет, мамочка, я с тобой! Минуточку только, минуточку, пожалуйста, ведь мы совсем и не говорили еще, ты даже ничего не рассказала мне.

И она соскакивала с постели, закутывалась в одеяло и, всунув голые ножки в туфли, бежала, слегка подпрыгивая и шлепая валившимися с ног туфлями, в комнату Марьи Сергеевны вслед за нею.

- Ты простудишься, Наташа!

- Да нет, ведь я всегда так... Расскажи мне, с кем ты танцевала - монстр?

Марья Сергеевна с помощью горничной начинала раздеваться и рассказывать дочери, как провела вечер.

- А Надя Войтова была?

- Была.

- В чем она была?

- Очень мило, платье из сюра... с маленьким букетом фиалок.

- Шло ей? Она много танцевала? А Анна Павловна, с сестрой была или одна?

Наташа плотнее закутывалась в одеяло и, слегка вздрагивая от свежего воздуха в комнате, ела дюшес, стараясь не высовывать руки из-под облегавшего ее одеяла. Ее очень интересовали все эти подробности, и она совсем оживлялась.

- Все же ты, наверное, лучше всех была. Я уверена! - восклицала она.

Но Марья Сергеевна чувствовала себя уже утомленной. Она торопливо раздевалась и устало опускалась на постель.

- Ну, иди, детка, пора уже.

Наташа укутывала ее плотнее одеялом.

- Теперь, пожалуй, можно и удалиться, - снисходительно соглашалась она, смеясь. - Прощайте-с! Спите спокойно! Желаю вам видеть во сне все самое хорошее.

Они опять целовались, крестя друг друга, и, наконец, Наташа убежала, все также шлепая туфлями и подпрыгивая на ходу, в свою комнату...

*Продолжение следует...*

**М.В. Крестовская.**



Лишь тот, кто ждёт - оценит встречу,  
В разлуке нет ничьей вины.  
Кто не любил - тот гасит свечи,  
Кто любит - тот горит внутри.

**Омар Хайям**

## РОЖДЕНИЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

В легкой дрожи, в головокруженьи,  
Подошла, приблизилась в тиши,  
Спазма сладкая стихотворения,  
Музыка очнувшейся души.

И, преображенный на мгновение,  
Мир вокруг меня совсем иной...  
А потом мученье и сомненья  
Над почти-что каждой строкой.

**М.Н. Волин.** Шанхай.



**К**ак хочется, родной, сказать слова,  
Которые тебе залечат раны.  
Уберегут от подлости и зла,  
Твоей защитой и опорой станут.

Как достучаться до твоей души?  
Впусти в свой мир и протяни мне руку,  
Ко мне навстречу, милый, поспеши,  
Доверив мне печаль свою и муку.

Я отведу нависшую беду,  
Я подарю блаженство и усладу,  
Я все напасти разом отведу  
Мне больше ничего, родной, не надо.

**Галина Иноземцева.** США.



*....Это было слишком хорошо,  
чтобы длиться долго.  
Бернар Вербер.*

## Письма читателей



**В Редакцию:** Я на днях узнала, что Тамару Малеевскую приняли в Российский Союз Писателей, с чем её я и поздравляю и желаю продолжать её редакторские работы... В октябре 2014 года с выходом журнала « 60, «Жемчужине исполнилось 15 лет. Срок немалый и это надо приветствовать. Как незаметно прошло время... От всей души желаю Тamarочке всего наилучшего. **А.П. Кокшарова.** 20-12-2014. Брисбен.

1-2-2015 Здравствуй, Тамара Николаевна! Вот получил по интернету 61-й номер "Жемчужины". Огромное Вам спасибо и за журнал, и за мои стихи в нём. Журнал снова просто замечательный - и по оформлению, и по содержанию. Вы - молодец! Ещё раз, спасибо за него. Всего-всего Вам доброго и новых успехов во всём! С глубоким уважением, В. Колабухин. Россия.



2-2-2015 Дорогая Тамара! С большим интересом прочел очередную, № 61 вашей "Жемчужины". Спасибо и за страницу из "Приамурского казачьего вестника", очень приятно, что хотя бы в таком уменьшенном виде с ней ознакомились в далекой Австралии... Желаю и вам удачи во всех творческих задумках! Ваш друг и собрат по перу -

**В. Иванов-Ардашев.** Хабаровск.

2-2-2015 ...Уважаемая Тамара! Сердечно благодарю за состоявшуюся на пятом континенте публикацию моего рассказа... У Вас очень своеобразное издание - во всех лучших смыслах. Дай Вам Бог в жизни всего наилучшего! А в первую очередь - здоровья и творческого настроения. Еще раз спасибо

**Ф. Ошевнев.**

2-2-2015 Большое спасибо, Тамара! С уважением, Ирина Арапова. Воронеж.

2-2-2015 Спаси Господь, дорогая Тамара Николаевна! Прекрасный номер. Бог в помощь, Ваш **В.Д. Ирзабеков.** Москва.

2-2-2015 Здравствуй, Тамара! Большое спасибо за журнал. Всегда приятно опубликоваться в хорошем издании. С уважением, Александр Смирнов. Россия.

5-2-2015 Тамара Николаевна, благодарю вас за публикацию стихов. Божией вам поможем и радости о Господе Иисусе Христе!  
С уважением **Е. Русецкая.** Казахстан.



2-2-2015 Тамара, огромное спасибо за свежий номер и публикацию рассказа! Вам творческих успехов и роста популярности журнала! С уважением, **А. Лопатин.**

8-4-2015 Здравствуй, уважаемая Тамара Николаевна... и все сотрудники столь интересного журнала! Набрёл в И-нете на Ваш журнал и был приятно удивлён: тонкий вкус в подборе материала, прекрасное, душевное оформление; «в кои-то веки», как любила говаривать моя бабуля, попался на глаза журнал, который не вызывает внутреннего отторжения и отчаяния от того, что там печатают. Чувство такое, как будто узнал вдруг о существовании родственника, о котором до этого не ведал, а он оказался очень близким тебе по духу... В последнее время, к сожалению, появилось много публикаций за кордоном, в которых Россия, русский человек представлены в не совсем приглядном виде. Больно читать это. И хотелось бы докричаться отсюда, из России, из провинции, из деревушки, что на краю векового леса, до тех, кто верит всему плохому, что говорят о русских: «Не верьте! Русская душа совсем не такая! Не агрессивная. Не подлая. Не злая...»

С искренним уважением к Вам и Вашему журналу, **Эдуард Ковшевный.** Россия.

2-2-2015 Здравствуй Тамара! Разрешите поздравить Вас с принятием в Российский Союз писателей. У Вас столько прекрасных работ, и добрые отзывы на них профессионалов, и публикации работ во многих странах - не вызывает удивление факт принятия Вас в Российский Союз писателей - это заслуженная награда Вам за многолетний труд - и не только в личном творчестве но и созидательной деятельности по сохранению Русского Мира - на таких подвижниках и держится он. Спасибо Вам за Ваши работы, за колоссальный труд позволяющий людям находящимся в разных странах ощущать себя частичками Русского Мира. Новых Вам творческих успехов и всего самого хорошего. С уважением, **Е. Кульба.** Россия.



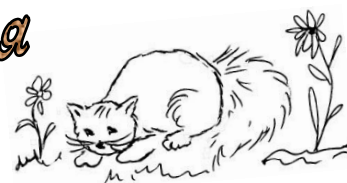
5-2-2015 Здравствуй, дорогая Тамара Николаевна! От души поздравляю Вас с вступлением в наш Союз писателей, с получением членского билета Союза! Действительно, работать: писать, издавать, собирать по крупицам осколки нашей истории и культуры, разбросанные по свету в страшном XX веке, - что мы можем сделать большего во благо Православия, Русского мира, России, Русского народа... Спасибо за присланный 61-й номер «Жемчужины».

С пожеланием здоровья и всяческих благ. Ваш **Владимир Шулдяков.** Омск.

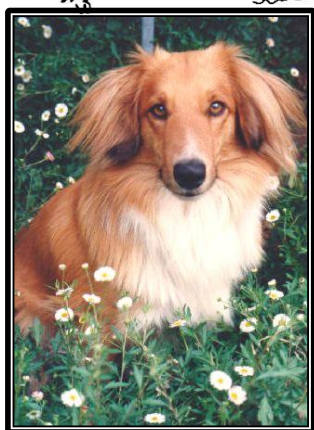
10-3-2015 Спасибо за новый журнал. Поздравляем с членством РСП. С Мельбурнским приветом,  
**Кот и Вера Супрунович.**



# Тузик и его друзья



## Сердце лягушки.



Мама-Иголочка сидит под Леопардом и шьёт из лоскутков гномикам игрушку. Какую - она детям пока не говорит. Это должен быть сюрприз. Пусть они удивятся, пусть порадуются.

Не знала мама-Иголочка, что её маленькие шалуны давно сидят на ветке Леопарда и с любопытством смотрят вниз...

- Бублик, ты только посмотри, что мама делает! - прошептал Говорилка и тихонько захлопал в ладошки: - она шьёт нам лягушку, забавную зелёную лягушку...

Бублик тоже таращит глаза на мамину работу.

- Не может быть! - покрутил он головой. И вдруг зашептал: - Ой, и правда - большая зелёная лягушка! Прямо как настоящая...

В это время мама-Иголочка приклеила лягушке на лобик большие выпученные глаза. Потом вышла на четырёх лапках - то есть, на ручках и ножках - цветы, ромашки. Потом вышла такие же ромашки на животике и спинке. Ну вот, кажется, и всё: лягушка готова...

Не успела мама-Иголочка убрать в коробку ножницы, иголку и нитки, как с дерева прыгнули Бублик и Говорилка.

- Ах вы, шалуны... вы - что же, всё время подсматривали? - засмеялась мама-Иголочка.

- Мама, сделай так, чтобы лягушка умела квакать, - скакал вокруг мамы Говорилка.

- И чтобы она умела прыгать! - визжал от радости Бублик.

- Лягушки из лоскутков не бывают настоящими. Вы должны это сами придумать... - начала говорить мама-Иголочка, но тут...

В ту самую минуту, когда мама-Иголочка сказала, что лягушка «не настоящая», случилась странная вещь: зелёная игрушка выскочила из её рук, скатилась на траву, там высоко подпрыгнула, потом громко квакнула - и куда-то исчезла...

Гномики растерянно посмотрели ей вслед, и оба враз заревели. Мама-Иголочка не знала, что делать. Пойти искать? Но куда? Кто мог подумать, что зелёная игрушка превратится в настоящую лягушку!

Тем временем на веранде проснулся Тузик. Услышал, что гномики плачут, и разбудил Матильду Леопольдовну, которая в это время дремала на солнышке.

- Что будем делать? - спросила белая кошка, и зажмурила на ярком солнце глаза.

- Как - что? - удивился Тузик: - искать будем.

- Но ведь ты громко лаешь... а лягушки боятся собак! - вздохнула Матильда Леопольдовна. Ей вовсе не хотелось идти на поиски тряпичной игрушки, куда приятнее греться на солнышке!

- Ну уж, сказала! - обиделся Тузик: - лягушки кошек тоже боятся.

- Прости, Тузик, - опустила глаза Матильда Леопольдовна: если будем спорить, то игрушку не найдём, а наши гномики ещё громче ревут...

Полдня искали пропавшую игрушку. Тузик обошёл весь Шумный Двор - нигде ни следа. Матильда Леопольдовна вскарабкалась на ветки Леопарда, даже под кружевные листья заглянула: всё напрасно, игрушки нигде нет. Гномики даже зашли к Рябушкам в курятник: «а вдруг..?» - мало ли куда она могла спрятаться от страха?

- Что же делать! - обняла детишек мама-Иголочка: - не плачьте, я вам новую лягушку сошью - тоже зелёную, пучеглазую, и тоже с ромашками на лапках...

Не успела мама-Иголочка сказать «сошью новую», как где-то в конце Шумного Двора послышался странный звук - словно кто-то плачет, или квакает, или зовёт на помощь...

Опять стали искать. Заглянули под каждый куст, под каждый листик. Но всё напрасно. А звук - или плачь, или квакание - становился всё громче и жалобнее. Пришлось позвать папу-Лобика и дедушку Помахайкина.

Добрый дедушка долго стоял и слушал. Вдруг папа-Лобик быстро пошёл к забору, где под большим чёрным мешком лежала груда кирпичей. Осторожно поднял край мешка - и ахнул: там, в темноте, лежала тряпичная зелёная лягушка и громко квакала-плакала: одна её ножка - с вышитой ромашкой! - запуталась в мешке, она никак не могла её вытащить...

Не прошло и минуты, лягушку освободили. Гномики стали её ласкать, целовать. Матильда Леопольдовна хотела принести ей молочка, но дедушка-Помахайкин сказал, что лягушки - если они настоящие - любят есть комариков.

- Как это, «если», ква-ква! - обиделась лягушка. - Конечно, я настоящая, ква-ква! Хоть и тряпичная, и с вышитыми ромашками на лапках...

- Настоящая! - тихонько шептал Говорилка, чтобы опять не испугать игрушку шумной радостью. - Самая-самая настоящая!

Бублик принёс тазик с водой, поставил его под кустом.

- Вот тут будешь теперь жить, ведь ты же настоящая. А комарики по вечерам сами начнут к тебе прилетать...

- Ты только приходи с нами играть, - добавил Говорилка.

Вечером, когда гномики улеглись спать, лягушка тихонько квакала им песенку. Тузик устроился на веранде. Засыпая, он сказал Матильде Леопольдовне:

- Это всем нам наука: игрушки надо любить, беречь и баловать...

- И тогда они, - зевнула белая кошка, - тогда они станут очень-очень настоящими.



Детские страницы



## СОДЕРЖАНИЕ

Пасхальные вести (стих. Я. Полонский)	1
Пасхою дышит Земля... (стих. Albina Yanko)	1
Выставка - «Певцы красноречивы...» (очерк, с И-нета)	2
Речь по поводу открытия памятника А.С. Пушкину (автор - Тургенев)	4
На лире скромной... (стих. А.С. Пушкин)	8
Сунгари (стих. А. Ачаир)	9
Девочка (стих. М. Коростовец)	9
Помню (стих. Николай Светлов)	9
Пасхальные яйца (рассказ, А. Стещенко)	10
Христос Воскресе... (стих. Эдуард Ковшевный)	11
Апельсиновое солнце (рассказ, Йосси Верди)	12
Болит душа закатами (стих. Е. Русецкая)	14
Тишина (стих. М.Н. Волин)	14
О нигилизме и жалости (статья, И. Ильин)	15
Я хотел бы... (стих. С. Бехтеев)	19
Я думала, Россия... (стих. Ларисса Андерсен)	19
Не скорбите (стих. Александр Лазутин)	19
Где-то в поле... (стих. Н.А. Заболоцкий)	20
Мишутка (стих. Владимир Белькович)	20
Страшнее нету одиночества... (стих. М. Лермонтов)	20
Под сиренью (стих. А. Паркау)	20
Русское солнце... - «Шишков, прости» (очерк, В. Ирзабеков)	21
Нас сломить никому не в силах (стих. Юлия Богиня)	24
Семья разговляется (рассказ, Н. Тэффи)	25
Пересолил (рассказ, А.П. Чехов)	27
Клякса (рассказ, А.Н. Толстой)	29
Заблудшие (рассказ, А.П. Чехов)	32
В гостях (рассказ, С.И. Гусев-Оренбургский)	34
Художник-варвар... (стих. А.С. Пушкин)	40
Я теперь... (стих. Эдуард Ковшевный)	40
Соломея (роман, А.Ф. Вельтман)	41
Перехожу от казни к казни... (стих. А. Блок)	50
Лунная грусть (стих. Л. Нелидова-Фивейская)	50
Ранние грозы (рассказ, М.В. Крестовская)	51
Лишь тот, кто ждёт... (стих. Омар Хайям)	57
Как хочется... (стих Г. Иноземцева)	57
Рождение стихотворения (стих. М.Н. Волин)	57
Письма читателей	58
Тузик и его друзья (сказка, Т. Малеевская, рис. и фото автора)	59

Над номером работали: редактор Т.Н. Малеевская.

Журнал можно приобрести в редакции «Жемчужины» - (07) 3161-49-27, в прицерковных киосках Св.Николаевского Кафедрального Собора, Св.Серафимовского храма и Св.-Владимирской церкви (Рокли) в Брисбене, в киоске Покровского Кафедрального Собора в Мельбурне, а также у следующих лиц:

Э.И. Городилова (02) 9727-69-87

З.Н. Кожевникова (02) 9609-29-87

Рисунки на обложке и к избранным текстам (иниц.) – работы Т. Малеевской (Попковой).



## ВНИМАНИЕ!

Вышел в свет сборник рассказов

### «РАССТРЕЛ»

Геннадий Гончаров

Цв. обложка. 56 стр., 24 см X 19.5 см

За справками обращаться к автору

gen34@bigpond.com



**Т. Малеевская**  
«Страна отцов»  
«Серебряный город»  
«Душенька»:

А также книга

**В.А. Малеевского** «Претенденты на  
Российский Престол»  
За справками обращаться:

**(07) 3161-49-27**

или

tamaleevpearl@gmail.com

Литературный кружок «Жемчужное Слово»

<http://zhemchuzhnojeslovo.yolasite.com>

Сайты связанные с журналом  
«Жемчужина»

\* Электронная версия журнала «Жемчужина»  
<http://zhemchuzhina.yolasite.com>

\* Новый сайт «Русское Зарубежье», посв. Харбинцам  
и послевоенным эмигрантам из Европы –  
<http://russkojazarubezhje.yolasite.com>

\* А также личный сайт автора - [tamaleevwriting.yolasite.com](http://tamaleevwriting.yolasite.com)

